





НИК. НИКИТИН

ПОЛЕТ

ПОВЕСТЬ

ПЕТРОПОЛИС  
БЕРЛН 1924

Настоящая книга отпечатана для  
издательства „Петрополис“  
в типографии Melichenfeld A.-G.  
в Берлине в феврале 1924 года.

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung vorbehalten  
Copyright by Petropolis Verlag A. G.

Снег похоронит покойников.  
Спите.  
Мы отпразднуем поминки  
Так.

Ник. Никитин.

1 XI-52 г. Волков.



## 1. Я люблю Валентину.

Если бы я был человеком старого Запада, я сумел бы хорошо рассказать о снежном пастырском саде, об укутанных яблонях, о домике в снегу, о ветре, что играет вьюшками в трубе, об уютной комнате, где они собирались по вечерам, и добрый пастор, подсаживаясь к столетней фисгармонии, осторожно подбирал музыку к торжественным псалмам напевающей милой мамы.

Но я — русский. В стране моей — жесткий и ледяной снег и вечный суровый ветер. Ветер этот с Белого моря и с океана.

И даже тут — в степном узле, где сходятся пять трактов: — даже тут слышен запах льдов с Белого моря.

По трактам корки ледяни и рыжие воробы.

Они зимуют в старых ветлах у дорожных канав, днем же летят на теплое кало, когда проходят обозы — чтобы согреться этим теплом.

Утром, когда выводят лошадей из конюшен нашего дивизиона, воробынные стан ждут, чтобы влететь в конюшни, где крепко пахнет лошадью, овсом и навозом.

Всегда, думая о людях, я не могу обойтись без птиц, зверей, или ветра.

Быть может, потому это, что в раннем детстве своем жил около зверей и птиц, у Зоологического сада. Имя городу — Петербург.

И вот сейчас вспомнила другое, степное сельбище, где в прежние времена квартировал пехотный батальон, я невольно начинаю с воробьев.

Воробей — вороватая рыжая птица.

Она похожа на русского.

И городок Л., расхлябанный, как трактир, похож на русского.

Нынче, когда пришла революция, в казармах батальона поставили дивизион, но воробы на старых дорогах — прежние, рыжие.

Птица эта оседлая. Тронуться не может.

Такая же, как синемо «Алор».

У синемо висит афиша — «В когтях змей».

И луна над городом пугливая и сырая, будто это афиша.

Вот — город.

Но о теплых уютных вечерах надо рассказать, а о той стуже, когда шли по городу — инструктор командир батареи Климович, бывший поручик и другой инструктор — Фирсов, тоже бывший поручик.

Летел жесткий снег.

И прилипала к человеку тоска сильнее, чем сырая луна к сырому небу.

В этом небе, в этой луне — вся судьба.

Нам всегда поворачивается она страшно, — потому что нет у нас хорошего неба, а на луне не раз видим мы зубы.

И как нельзя было оторвать луны от неба, так нельзя рассказать о Фирсове, без Климовича.

Биография их точна, как астрономические выкладки Кеплера.

- ... Когда мы играли детьми ...
- ... Когда мы были в школе ...
- ... Когда мы сидели на одной парте ...
- ... Когда мы учились в университете ...
- ... Когда мы служили в 5-й бригаде и оставляли Брест-Литовск немцам ...
- ... Когда пришла революция ... тут они молчат.
- ... Когда нас забрали в Красную Армию ...

И дальше — уже о дивизионе, о тоске, о красных знаменах, о вечном ветре моей страны, о том — где нет уюта, а только ледяные бугры и снега, о сыром лунном вечере с жестким снегом, когда спотыкаешься о ледяшки возвращались домой Климович и Фирсов.

Тут сказал Климович.

— Я люблю Валентину.

Сказал это у порога, отряхивая от снега валенки. И не оглянулся на Фирсова.

Было все очень просто, как валенки, как сам Климович, пухлый, маленький, заросший мохнатой бородой.

И также просто скипятили на железной печке чай.

— Сахару нет.

— Нет и нет ...

Ответил Фирсов.

Хлеб пах селедкой, потому что нож пах селедкой.

В углу — уткнувшись к стене — два старые чёмодана, с порванной кожей, как недовольные, затерзанные люди, зачем-то связанные вместе.

Фирсов, Климович — напившись чаю, с мерзлой свеклой, вместо сахара, легли на койки.

— Где Гумар?

— Гумар ушел...

Это — о вестовом и коноводе Гумаре, бывшем пароходном лакее, касимовском татарине.

Койки были узкие и короткие. Перед тем, как ложиться спать, Фирсов подставил к своей мягкий стул (когда ударяли по спинке, из стула вылетало пыльное пушечное облачко).

Спал он, вытянув ноги, сухие и желтые, что лошадиные кости, за железный переплет койки, на стул.

Над этим всегда смеялся Климович.

Сегодня он только посмотрел на Фирсова, а сказать, ничего не сказал.

Потушили лампочку, и стало совсем похоже на ночь, хотя по часам было только семь часов вечера; они лежали, молча.

И за окном, в трубе, не играл ветер.

Ветер наш неуютный. Он воет и трещит громче барабана на трактах за городом.

Печка остыла.

В комнате стало суще и строже, и особый запах от холода, точно в цирке.

Холод, ведь, имеет свой запах, как и тепло.

Фирсов поднялся с койки. Поддерживая на холу кальсоны, подошел к столу — взять спички.

Закурив, спросил.

— Так ты говоришь, что любишь Валентину....

Но Климович не повернулся, не ответил.

Может быть — спал Климович.

Может быть — нет....

Сняв шинель с гвоздика, Фирсов укутался.

Трубка хорошо греет руки.

И когда затянешься, лицо ночью вспыхнет костром.

Курил, думал — о Валентине, о любви и о холодах.

И опять думал, когда уже потухла трубка, о войне — где многое неизвестно, и о жизни — тоже неизвестной, как полет птицы.

Ночью стукнулся в дверь Гумар.

— Товарищ начальник, я пришел.

Ответив —

— Хорошо...

Фирсов бросил под кровать трубку и решил уснуть. Стыли ноги от железных прутьев койки.

Тоска сжимала ноги.

Было завидно, что Климович может свернуться на койке удобным комочком.

В городе выстрелили, и выстрел, что плеть, повис над городом.

Но никто в городе не проснулся.

Революция за три года приучила к выстрелам.

Утром выяснилось — что квартальному Фонарику-ву, во время дежурства, приснилась контр-революция...

И он, в просоньях, выстрелил из винтовки.

## 2. Началось.

Барак под церковь сколочен был во время войны, когда город, как полой водой, потонул в ратниках.

Стены барака из старого леса, с дырочками, вроде пятачков. Раньше запаклевать, не додумались, а нынче некогда.

Теперь, когда уж давно нет церкви, и на амвоне устроена полотняная сцена, в бараке сквозит, что из трубы — и вьет по ветру флаги.

И сверху — с расписанного деревянного потолка. удивленно глядят на зашарпанные и круглые, что нера-

зобранный горох, затылки дивизиона — глядят сам господь Саваоф, с пушистой мыльной бородой, — и около него порхают по сухой лазури, между золотых, как мебельные гвоздики, звезд — веселые крылья ангелов.

Когда соберутся люди, полный барак, и потянет густо махоркою, вспомнят о ладане, синем и легком.

На задней стенке коричневый — «Л. Троцкий», — в белой раме, с красною лентой — тут же буфетчик по квиткам отпускает красноармейцам чай.

По кружке на человека.

Ребята пьют со вкусом, обжигаясь, медчено.

Ветер играет с лентами «Троцкого».

Ведь барак и казармы стоят с краю города, за екатерининским шлаг-баумом, у тракта — где привык жить ветер, потому что тут рядом степь. Степь — море — ширина и бескрайняя тоска.

Сегодня, в день дивизионной годовщины, — митинг.

И комиссар дивизиона Лепукали, затянутый в старую офицерскую пинель, как трехдюймовка в парусиновый чехол, — говорит речь.

В бараке потно от саног, от нечистых солдатских портянок. И этот пот рыжею сыростью стоит над балалайчиками.

От этой сырости вянут у комиссара слова, так трава вянет под осенией водою.

Но глаза плотнее, грубее, чирче американских консервных банок.

— Мы вспомним исторические переживания...

... Недовольство внутри того строя, который мы с вами переживали...

... Эту нить проделали рабочие и красная армия...  
Какую нить... Такую нить, то есть борьбы...

... С гордостью восстановились...

... С гордостью бьемся в бою, переживая тяготы и  
лишения...

... С гордостью.

Летели слова шлангами, густыми и черными, будто подбрасывали лопатой землю.

И то, над чем мог смеяться Фирсов, именно то — самое неяное и грубое, что земля, это-то и понятно было серой пинельной лаве, которая как влилась в барак, так сразу принесла с собой и сырость, и пот, и дым, и землю.

— Товарищи, интернационал. Встать!

И Лепукали, с лицом вытянутым и желтым, как у копченого сига, поспешно и услужливо склонился с закругленного амвона.

Дивизион встал, долго харкая, шлангая, шевелил сапогами, суетясь беспокойней, чем рыбы стая в сетях.

Когда грянули балалаечники, дивизион запел.

Пели красноармейцы протяжно, будто мерили версты и мерзли, а капельмейстер, сердито косясь в барак, где неторопливо, с кашлем и хрипом, пел дивизион, — должен был сдерживать своих музыкантов, и оттого инструменты сбились в раздробь, как зайцы по полю.

И оттого же капельмейстер выругался, плонул, опять собрал своих и кончил интернационал первым. Дивизион же не спешил их догонять.

Когда доневали последний куплет, Фирсову стало скучно, он вышел.

Сегодня, наверное, от ветра, луна была желтая.

И снега по полю заливало желтым, лежали снега в полях, как соты.

А в небе тихо, что у хорошего хозяина.

На дворе, у казарм, Фирсов встретил комиссара.

Лепукали стоял, запустив руки в карманы.

— Что с вами?

Спросил Фирсов.

— Ничего... Устал. Проту перевода из Москвы, не дают. Получил письмо из кавказской бригады, шесть самоубийств комсостава... Фролов пишет...

И отмахнувшись, как измученная на леске рыба, Лепукали отошел от Фирсова.

На крыльце барака сидел Гумар, отплевывая кожуру. Гумар ел семячки.

И потому, что Гумар сидел спокойно, и спокойно плевал, и Гумара грела желтая луна, а рядом с Гумаром грелась — такая же желтая дивизионная собака Ара — стало не по себе.

Он окликнул вестового.

— Пойдем.

По дороге, от ветра, путалась сырая пыль, поземка. Гумар щелкал.

Кое-где, в деревянных домах, ленивые огни, редкие, что овсяные зерна в пашне.

В городе не было керосину.

Гумар выворотил карман, разгрыз последнее семячко и вздохнул.

— Поручик Климович уехал. Барышня уехала и поручик. Дивизиона лошадь брал. Говорит сено брать еду. За городом барыню брал... там...

И Гумар засмеялся, утирая с губы прилипшую шелуху.

И оттого, что засмеялся вестовой, Фирсов крикнул со злостью.

— Гумар! Не сметь...

Фирсов остановился и Гумар остановился.

Стоял на дороге. И на губе у Гумара — так и осталась прилипшая черная шелуха.

Гумар не понимал — чего кричит Фирсов.

— Ну...

— Ну...

Опять пошли по дороге. Скользили бугры, и под сапогом круто хрустел лед, как антоновские крепкие яблочки.

Фирсов.

— Ты, Гумар... тыщу раз тебе говорить. За четыре года от поручиков отвыкнуть не можешь. Нет поручиков... Чорт.

Коновод опять хлебнул как то иносом.

— Мне ни надо. В Питер эду. Дядя Салим пишет — не надо военной служить, иди ресторан служить. Опять ресторан будить, салыфет будить, Гумар служить будить... Обед давать будить...

— Дурак...

— Зачем дурак? Сапоги чистые... рубах чистый. Совсем не дурак. Водка будить...

В ветлах у канав еще шуршали воробы — и от инея ветлы седели...

Мир этот старый: ветлы, луна и ледяная дорога.

И Гумар смеялся.

Тут спросил Фирсов.

— Какая барыня? Валентина Петровна?

— Ва - алентин... за город сажал... ра - ад...

Дома Гумар варил ужин, говорил о том, какие опять в городах рестораны, что пишет дядя Салим.

— Революция нет... Революция — что? Птичка. Красный флаг нет — Салим пишет... Вот. Бэда.

Фирсов лежал, кутая ноги в одеяло. Сегодня с пола сквозил холод, ветром надуло его в подвал, простыл пол.

Ведь сегодня день был ветреный. Ветры пошли еще с прошлой ночи.

И за окнами непроницаемая и скользкая, что kleen-ка, тьма.

И шелест ветра в канавах.

И знаешь, что по трактам он тарахтит громче.

А тракты бегут в страну, где недавно горели и травы, и трубы, и стены. И ходил гордый веселый дым. И не думалось тогда ни в городах, ни в степи, что ветер с Белого моря — неизбежен, и с океана неизбежен.

Ведь страна наша голая, открыта морю и жесткому снегу, и потому на ней ломаются вечные ветры.

Ветры эти подымают бураны и тушат костры.

И ветер в стране — хозяин.

Кутит в логах.

— Слушайте...

Кричит ветер в прохожей стране.

Странно думать, что где то есть водопроводы, и идут токи от станций, чтобы накалить холодные угольные луги до света, и в театрах машины подбирают железные занавесы, чтобы показать со сцены актеров.

Места эти — пятна.

Что о них говорить, когда огромное тело — снег, сеть и ветер.

И не уйдешь от снега, от вечного ветра — уйдешь. Надолго-ли...

Разве можно унять зубную боль земляничным наговорным корешком?

А им лечатся в стенах.

Гумар долго смотрит на бритое, крепкое и гладкое, как обглоданный коний мосол, лицо инструктора Фирсова.

— Спить? Иди ужинать.

Фирсов хлебал суп из вяленой рыбы и картошки, лениво ломая хлеб.

Тут же, одним левым глазом захватил краешек столичной газеты и между крошками (в газету завернут был хлеб) прочел.

-- В д. № 9, по Социалистической ул., повесилась, оставив записку о разочаровании в жизни, гр. Берзина, 54 лет.

Улыбнулся Фирсов.

— Анекдоты... Началось...

И, сняв сапоги, улегся скорее спать.

— Не забудь Гумар, сапоги высушить.

— Буду сушить, буду...

Сказал Гумар.

И посмотрев еще раз на лицо Фирсова — крепкое, гладкое, обглоданное — до чиста — точно коний мосол в овраге еглоданный волками — подумал об этом плохо.

— И-ех.

### 3. Ночь.

Зимние ночи, стенные — пежевые. В снегу очень тихо, когда метелица встает, и ветер уляжется по оврагу, по невинному логу... хорошо!

И по накатам орут беспечно санки, и хрюкает от скакки лошадиное горло... — хорошо.

Меркнут лога, деревни по сизому пару, по синей степи и небу, забрызганные крапинами.

Рядом, чуть ли в голову, цепляются столбы, проволоки — намерзшие бахромой, бородами, зимою — и летят все быстро, хрюкая, как это горло. Хорошо!

У лошади тогда, если попробовать, потная грудь и  
глаза влажнее и мягче вина.

Морда вперед — пружиной.

И люди — как этот ветер, что выбивает подковой  
конь вместе со снежными шлепками.

Люди и ветер — холодный, пушистый, белый.

Это — хорошо.

На облучке, в полуушубке, Артюшка — дивизионный  
конюх.

Полушубок рыжий, даже ночью. И корелый, деревянин-  
ный — крепче скорлупы у каленого ореха.

И парень Артюшка — целый, крутой. С плечами,  
убежавшими на отмашь, что разводы у дровней.

Артюшка гикает — так зимой ухают елки, целуясь с  
морозом.

— Та - их, се - во - лачь ... Тю - уу ...

И от рыжей овчины встает пар. Хорошо!

Теплая Артюшкина спина в инее. Сел на нее мороз.  
И от спины тает.

И на мороз идет с овчины горький, как у черемухи,  
 дух недубленой кожи.

Хорошо!

Когда черемухи цветут по морозу — женщины любят  
поцелуи — такие же горькие, как весенний цвет дерева.

Вот почему снега дразнят, и кожа пахнет, и лошадь,  
как женщина, в мыле и страсти — мчит, морду вперед  
пружиной.

И в перелесках еще дразнят, еще отцокивают желез-  
ные конские подковы и по вымерзшему в железо снегу  
— ухабам.

Это — ... чоки - чок ... чоки - чок ... чоки - чок ...  
как японская песня о поцелуе — так доносит, играет  
эхо в синих, затянутых снежным пухом перелесках.

Песня эта железная — поется железными конскими копытами.

И если есть в санках женщина, она глотает ветер будто вино. И пьяная этим вином забывает, что бывают спокойные комнаты, а в комнате домашняя печка и от кафели печки веет теплом, семьей, может быть, тут же греется ее мать.

Все меркнет и только впереди перед женщиной блестят серебряные в морозе лошадиные губы, мохнатые, точно у лешего.

И здесь никто не скажет — так или не так... Вдруг так и есть, сам леший мчит возок по укату, за лога — к небесным красашкам в степном конце.

Краешки плотны, темны, сладки, может быть, сахарная лиловая бумага.

В санях, на сенинке, под пестрым ковром, почти лежа, несутся Климович, бывший поручик, и Валентина Петровна.

Ночью в санях, когда уши сами слушают конский бег и чокоты копыт, тогда у соседки, запрятавшей голову в снежный и пухлый, как сугроб, кapor, видны одни только губы.

Эти губы гуще тогда, чем кровь.

И солонее соли.

И целовать их нужно также больно и слышно, как эхо в перелесках — поюще то, что выбивается по вымерзшему снегу конской дробью.

И Артюшка, стегая кнутом по серебряным в ииее лошадиным губам, кричит — будто бритва его полоснула.

— Ие - хай, све - олачъ!

Артюшка знает езду, кнут у него — что жила в руке.

Когда дорожные костяные укаты пихнут вверх санки, и седоки, привскочив, летят к небу — прижмутся,

чтобы не стукнуться об это низкое и плотное небо —  
тогда ...

... крепчит тогда Валентина Петровна, тоже что и  
Артюшка, но глупше, сквозь тяжелые меха шубки.

— ... Душно... мне душно.

И губы у нея дрожат — как капли.

А санки снова споткнутся об ухаб.

И опять смех Валентины Петровны из шубки бульк-  
нет, что из бутылки.

— Ну целуйте. Смешной вы, Климович...

Тогда у женщины губы — капли крови, удивитель-  
ные и страшные.

А у лошади — в серебро.

Этим часом окрашены очень лиловые сугробы, но-  
чные, нежные, мягко человеческого тела.

И Климович целует.

Качает ухабами.

Ловят.

По этой старой русской дороге, разрывая поземку,  
пыль, ветер, — всегда мчали русские бары любовниц,  
на своих иль на цыганских тройках.

И колокольчику, и песне, и поцелую — сколько  
прошлым было отдано часов.

Сейчас — в Кривой Кочеток, куда мчит лошадь, од-  
на лошадь уже, а не тройка, едут Валентина Петров-  
на и Климович.

От Кривого Кочетка, от старых портретов, боскет-  
ных, очень давно — о чем не знаю и я — ничего не  
осталось, кроме названия и моли.

И я не хочу знать, что Кривой Кочеток, когда приши-  
ла революция, назвали иначе.

— И тогда ведь в нем была лишь моль.

Кривой Кочеток, как ии назови, остается всегда Кочетком, так же, как остаются на террасе дома четыре колонны, заложенные — будто о них терлись сальные борова.

Я не копну прошлого — что ныне в моде, и не скажу о новом — мне надо только людей и обыкновен-нейшую человеческую любовь.

Быть может это — еще несыграанный, неконченный робер от дедушки в дворянском военном сюртуке.

Пусть.

#### 4. Совхоз „Кривой Кочеток“.

В комнатах дома — где совхоз, тепло.

На крыльце, черном, пристроенном к коридору, соединяющему барский дом с кухней, греются куры, потому что из под щелей набухшей отставшей двери лезут острые зубки — полоски света и кухонного тепла.

Когда проходит зеведующий совхозом агроном Петровский — куры вскакивают и хлопочут, вроде баб.

И Петровский ругается.

— Мотька. Проды, пайку мало вам, а за курой смотреть много...

Сегодня — в день его именин, почные пьяные гости. Поэтому особенно угарно.

И еще новые гости из города — Валентина Петровна и Климович.

Все сидят в голой комнате — наверное, бывшей лакайской, во втором этаже, где окошки квадратные.

Если из этих комнаток второго этажа пройти по темным коридорам, то выйдешь на хоры большого двухсветного зала.

Нынче там пахнет старыми елочками, гирляндами.

Летом устраивали в зале спектакли — все украшения остались. Хвоя лишь порыжела, осыпалась и хрустит сейчас под ногой, что летом в лесу.

А из больших мерзлых окон входит голубой нежный свет в залу.

Пахнет еще землей и картошкой, насыпанной кучами по полу зала.

А в картошке пищат крысы.

Иной раз они ходят стаями — толстые и жирные.

В первом этаже никто, кроме крыс, не живет.

А во втором, в угловой — Петровский.

Из мебели в пей: кровать, ведро с водой, стулья и березовый большой стол.

Еще комод. На комоде конторские книги.

В ящиках овощи.

А по углам опять мешки с картошкой.

От картошки воздух сырой и пыльный.

И сам Петровский — розов, скучен и рыхл, как картофель.

Он слушает Валентину Петровну очень внимательно.

Только иной раз встряхнет плечом, что лошадь от мухи.

— Разве это жизнь?... Вот мы сидим и ничего не понимаем. И не будем понимать, потому что все могут быть кончено.

Гости смеются.

Валентина Петровна обижается, кутается в косынку, а Климович осторожно. —

— Ну, ну, ну...

— Я была... Да. Это было в Петербурге, когда большевики брали Зимний. А мы кутили на Миллионной, в кавалерийских казармах. Часа в 3 ночи кажется, прибегает к нам юнкер из Зимнего Дворца, говорит

надо подкрепления. А полковник совсем уж пьяненький и офицеры совсем пьяненькие. И я пьяненькая. А когда я пьяненькая, я очень счастливенькая. И такое все сизое, сизое, будто дым. А юнкер очень хорошеный, будто еврейчик. Ну, говорит, значит кончено, большевики возьмут. Полковник тут махнул рукой — что ж говорит я могу...

Гости молчали.

— Утром, действительно, приходят большевики. И нас просто вынесли мертвенькими на грузовик... Я так ничего и не поняла, а когда нас выпустили, все говорят, пошла революция... А здесь мне жить скучно, Климович, помогите мне...

Она обнимает Климовича за шею, гости смеются, в окнах туман и угар, и Валентина Петровна тоже смеется.

— Только мне этого мало, Климович... Теперь уж я вкус потеряла, не понимаю чего хочу. Дай мне индейку, скажу — господи, как не вкусно.

Она встала, обтягивая косынку на груди, и жеманная косынка была точно желтая пухлая пена.

Петровский, и Климович, и пьяные хлебным вином гости, смотрели на Валентину Петровну, купавшую грудь в пене.

Она увидела это, повернулась как-то боком, и вытянула руку с рюмкой.

Ногой топнула.

— Налейте... Мне России не надо, когда я пьяненькая, я счастливенькая...

Заведующий совхозом Петровский, качаясь на ходу, потянулся с бутылкой.

Льет медленно, будто сам пьянея, оттого может быть,

— что пахнет вино, и рядом — маленькая женщина с матовыми, как запотевшее зеркало глазами.

— Нам... —

Говорит он

— ... Валентина Петровна, ничего не надо. Нам картошку надо, вот.

Гости опять смеются.

И когда приходят бурные деревенские рассветы, добрые, густые, точно дойные коровы, — гости уже спят, приткнувшись к мешкам в углу.

Климович глядит на Валентину Петровну, калачиком усевшуюся на стуле.

Петровский подперся кулаками.

Он плачет тяжело — может быть так плачут звери.

— Ты мне скажи... вот из Москвы в Берлин на аэроплане ездят из кабака в кабак. Пишут все по новому, огромнейшие обороты. Ну, а к чему мне это, вот что ты мне скажи...

Климович подхватывает на руки Валентину Петровну.

И несет по комнате, по коридору, на пыльные хоры двухсветного зала, где кучами солома и конские войлочные потники.

Он останавливается у барьера и говорит ей.

— Вот я тебя туда сброшу... в картошку, вниз...

— Брось...

Она смеется, чуть-чуть двинув губами.

— ... Я маленькая, мне можно. Когда я была совсем, совсем маленькая, два года, я была такая маленькая — с лампу. Все дразнили меня копеечкой.

— Копеечка... Валечка.

Он приподнимает ишу к лицу.

— Валечка, иш... Валентина.

От нее идет нежное тепло и аромат — как из рюмки.  
Климович пьянеет, опускается вдруг с ношей на пол.

И долго долго целует ей руки, груди, шею.

А Валентина Петровна, лежа на полу, на потничках  
рвет с себя юбку.

И голоса ее почти не слышно.

— Миленький... скорее... ну скорее.

Мутно и тяжело подымается с колен Климович.

— ... Фединька, что же ты... Фединька.

— Потом, Валя, не сейчас.

И Валентина Петровна шепчет с полу.

— Во вторник, вечером... придешь?

Немытые окна от бурых рассветов буры.

От картошки прель. Крысы по утрам снят — в зале  
тихо.

Под самым верхом, у потолка, где затейливые коль-  
чательные, как папиросный дым, фризы — висят портрет  
мордастого и доволынного Румянцева-Задунайского.

(Его не сумели снять).

На окнах тает иней — значит теплое, душное утро.

Дороги будут рыжие — снег от тепла ведь желтее.

А днем, если подует ветер — встанет над полями  
туман.

Люди — в такое утро — просыпаются в тоске.

## 5. Плисовый рай.

— Я просила вас, Петр Николаевич...

— Да...

Он — Фирсов медленно кивал головой. Рядом, в кро-  
вати — в розовеньком с полосками капотике, с очень  
открытой грудью, прищуривая то правый, то левый  
глаз — лежала Валентина Петровна.

На столике, как вода, тикали каплями, часы. И умывальник, белея в углу мрамором, тоже как часы, рожая каплями воду.

Плисовые розовые креслица и плисовые канапе держали в этой комнате лукавое, спальное тепло.

Креслица розовые — без накидочек, без салфеточек, т. е. не как принято в уездных комнатах — и потому они кажутся голенькими, теплыми.

— ... Вы простите, что я так, но мне нездоровится, а надо сказать

— ... да...

— ... что... вы понимаете ...

— ... да...

— ... он сердится ... почему он вчера не пришел ... я ему сказала тогда... мы ездили, он не рассказывал... что было, когда мы ездили?

— ... что ? ..

— что он не рассказывал? Он может бояться вас?

— Он любит вас.

— Любит...

Она очень тихо, редкими, как минуты, смешками ответила.

— ... я простудилась, наверно, дорогой тогда. Написала записку, чтобы он приходил... Почему он не приходит? Глупый... Может вернется жених, он пишет, что ему дадут отпуск с Кавказа. Он у меня бешеный, веселенький... вот...

Она сдернула со столика спального фотографическую рамку.

— ... вот... еще до революции...

Фирсов смотрел — на карточке капитан с острым лицом.

— Похож на нашего комиссара.

— Пишет, что ему очень тяжело и что опасно...

— Всем нам тяжело, Валентина Петровна. Обалдеть можно, сколько лет трубим, и когда только конец. Я шесть лет не видал матери, сестра умерла без меня, брат... Живешь, один чемодан да мусор. Обалдеть... Никого нет, ничего нет...

— ... это верно, что Климович любит...

— ... что вы говорите? Да — любит. Скучно ведь, удавившись. Он молчун, только мне видно. Эти походы, грязные зашлепанные сапоги, когда мы их скинем...

Фирсов высыпался.

Приподнявшись с кровати, Валентина Петровна накнулась к Фирсову. И ему было видно, как отстал от тела халатик, и как упали темные, в тени халатика, груди, что грушки.

— Милый, дайте я вас поцелую... вместо мамы. Ну дайте.

Было очень тепло и очень долго, и по райски.

И хитро смотрели на двух — голые розовые кресли-ца и капитан с фотографии — строгим сиговым взглядом...

Затем военспец Фирсов встал, перебрав пальцами в сапогах, потому что затекли ноги и отошел к окну, чтобы закурить.

Спички гасли.

Замерзшие совсем окна от сумерек сини.

Закурил.

Потом подошел к умывальнику — умылся.

Застегнулся.

— Да... А ты Климовича не любишь?...

Валентина Петровна в кровати стала на коленки.

— Милый, я же маленькая. Разве я знаю? Поди сюда, тупик мой. Дай мне футельки . . .

Любила она ласковые в словах замены.

Футельки — это туфельки.

Лобака — это собака.

Ловечик — человечик.

Любчик — любимый.

Агушки — приласкай.

Фирсов из под кровати вынул туфельки.

И когда одевал, — заметил, что на левой ноге пальцы у Валентины Петровны тоже холодные.

— У тебя больное сердце.

— У меня . . . у меня не сердце, а такочка . . . тик-так, тик-так . . .

Опять поцеловала.

— Больше не надо, не надо, не надо . . .

У нее дрожали руки, как трава под ветром.

— Не надо . . . не надо. Приходи вместе с Климовичем. Ну уходи, уходи. Какой ты больной . . . Пе-е-отр Ии-ко-ла-евич . . .

И весь письмовый рай — креслица, халатик, туфельки смеялись над Петром Николаевичем.

За окнами надал снег густой сметаной — тяжелый и липкий.

Кутал налисады, дома, город — в теплое.

Пел, павериос, кутая — потому что город рано укладывался снать.

И, если бы совсем укутало его по крыши, никто в стране моей, холодной и снежной, где с октября сту-дит вечный ветер, никто не заметил бы — что исчез город.

Разве только случайный проезжий, с новым москов-ским декретом, увида вместо города старые высокие

шлагбаумы, вставши у трактов нестрыми палками с пяти городских концов — подумал бы.

— Сожгло... нету.

Подумал бы о веселом дыме, о комиссарских тройках, когда даже люди горели и мчались, уходили — зажигали, чтобы горела земля.

Фирсов, разыскивая улицу в сугробах, вспоминал о Москве.

Казалось она ему гремучим, электрическим цирком, где все шумит, вертится и звенит.

Дома Климович уже спал.

И Фирсов долго глядел в железную печку, около которой возился Гумар.

Уголья горели и потухали, горели и потухали.

И было это похоже на горящую землю.

И когда шипела горящая щепка, выпустив слону, — Гумар лез головой в печку — раздувая.

Пламя обливало красным голову Гумара.

Фирсов же думал о родине, о столице, о судьбе русских тихих полей.

— Гумар...

спросил Фирсов —

— ... что пишет дядя Салим?

— Дядя Салим...

Гумар на корточках — бритая и вкуеная, как репа, голова. Весело глотать тепло от печки.

— ... Хороши дела Салим. Народ чистай, денег много. Рубах чистай. Вино торгуют. Дамочки торгуют...

Кивнул Гумар и опять полез на печку.

И почему то тихонько засмеялся, оглядывая тихие утоля.

А Фирсов смеяться не умел, может быть и не мог.

## 6. Квартальный Фонариков.

В грязях, когда плещется осень, мбя, мбя дождями, из улицы устроив портомойню — по городку проходит квартальный Фонариков.

Пыльным летом, когда овцы ищут забора, — под тень, чтобы не жгло и не мешало солнце, а люди сидят за ставнями и даже в погребе, и пьют там либо ледяной квас, либо крутой кипяток с брусникой — по городку проходит — квартальный Фонариков.

Веснами, когда за домами, в талых огородках бешено закаркают галки, а по вечерам, у церковной ограды, под рыжею липою, блеснет белое женское плечо и зашумят в листве поцелуи, что воробы на дорогах — по городку проходит — квартальный Фонариков.

А сегодня ночь — зимняя ведьма, голодная и злая — ветром сушит она мохнатые сырье волосы, но ветер рвет, и волоса лезут у старухи, и летит седой липкий волос по улицам, по всем пяти трактам — по квартальный Фонариков проходит по городку.

Гнилые, углом вставшие к дороге, фонарные столбы без фонарей, одно яркое окно в городе — где синемо «Алор» и желтая афиша синемо:

Драма в пяти частях  
с уч. Веры Спарской  
«В когтях змеи».  
Анонс. Маска Мертвца  
Нервным ходить не предлагается.

А над улицами как афиша, приклёпанныя к небу луна, исцарапанная какими то знаками. И сквозь тьму,

сквозь пургу в городке, кто нибудь может также про-  
чтёт, что:

*переным ходить не предлагается,*

может быть Фирсов сумел бы прочитать это, но Фир-  
сов спит, а квартальный Фонариков проходит по го-  
родку.

Он идет мимо Уезкома, Отпароба, Ара — и прочих  
правящих мест. За плечами винтовка в снегу, в тя-  
желых вятских валенках, и с красной звездой на ле-  
вом боку у сердца — на полушубке, с красной звездой;  
заточенной в овал скрестившихся веток.

У него нет лица, потому что не надо ему лица, он  
везде один, на всех пяти трактах, сжавшихся здесь  
узлом.

Идут: вятские валенки, винтовка и звезда. А все  
вместе — квартальный Фонариков.

Идет, заглядывая в каждый дом, зная в каждом до-  
ме — какие где перины и хорошо ли поет канарейка,  
весело ли живет с женой дьякон, куда возил даму во-  
енспец Климович и — для каких целей и кто из де-  
вушек бегает к акушерке Зайченко.

Это ему дудят телеграммы по обвисшим, обросшим  
снежными бородами проводам.

Очень не долго в этом городе жил писатель — писа-  
телю приходили редкие телеграммы. Это было исклю-  
чением — и квартальный Фонариков их не считает.

Обойдя городок, он заходит в участок, сидит там  
долго у лампы и слушает.

Зная, что в сущности слушать нечего, что город за-  
снул под иконами у сиценьких и красненьких лампад,  
под снегами, ростущими крышами, он все-таки слушает

— для порядка, по привычке... Ведь привык всегда быть на стороже квартальный Фонариков.

В городе говорят только днем, у лавок, по праздникам в церкви. Дома же говорить людям нечего, отвыкли.

И когда говорят промежь себя, то так: —

— Нет, без кабака как можно; птице — той говеть можно, а народ скучает.

— У нас, поди, тоже заведут.

— Заведут, будьте благонадежны. В Москве, пишут, вертящееся колесо завели: придешь, машинка калошки сымет, к столику на машинке, тут рюмочки механические, ром, может, или что крепкое, ополоснут и опять, тут к тебе под'едет закусочка... На эту механику, говорят, большие миллионы потрачены.

— Ну у их денег много.

— Конешно, у их бумага непокупываемая...

Так идут печальные ночи, в эти ночи девушки любят, чтобы потом поутру бежать за средством к акушерке Зайченко.

Только один портной Бурштейн ночью долго сидит с газетой.

У портного есть комод, а на комоде рядом с зеркалом — по одну сторону самовар медный, но покрыт никелем, по другую гипсовый Карл Маркс, величиной в три вершка, покрыт позолотой.

Ночью еще не снят за городом на огородах бабки Лепатихи в краинском домике с глухим двором, где, когда-то, была голубиная мольельня, и где до сих пор под крыльцами у избы, выструган голубь. Там живут четыре здоровые, веселые девки. Летом они копорили на огородах Лепатихи, а зимою остались у бабки

на готовых кормах, и по зимам бабка Лепатиха торгует  
девками — за раз и на ночь, как угодно...

Квартальный Фонариков, а с ним и весь городок,  
зовет сюровую бабку публичным домом.

Провода, снега и приклеенная луна — вот город.

И зачем-то, напрасно, рвется сюда ветер с моря,  
пролетавший, может быть, через Москву.

Он взметает только снега.

Под снегом спится еще лучше.

Лишь квартальный Фонариков в участке сторожит.  
Но он не усторожил.

В эту ночь, в тот час — когда особенно метал и рвал-  
ся ветер, в городе застрелился приезжий из Петербур-  
га, сотрудник геологической экспедиции А. В. Добро-  
хотов.

Выстрел, как плеть, просвистел.

Но никто в городе не проснулся.

Революция за три года приучила к выстрелам.

А на город глядела сырая и пугливая луна.

## 7. А. В. Доброхотов.

В гостинице «Советское Общежитие» — бывшие по-  
меры над трактиром купца Тряпкина, утонувшего про-  
шлым годом, спьяна, в бочке с кумышкой (самодель-  
ная водка) — следствие.

На худенькой железной кровати, привалившись спи-  
ной к жирной стенке, испачканный клопами, как-то  
упершись двумя руками вправо — в подушку, лежал  
А. В. Доброхотов, с полузашедшими глазами, так, что  
были видны одни только белки.

Рядом — в складках шерстяного солдатского одеяла  
вался револьвер.

На черном столике у окна, еще засоренном яичной скорлупой и солью в газетной бумажке, милиция составляла акт.

Вероятно — Доброхотов застрелился, поужинав.

Жильцы, узнав о случае, суетились у двери в коридоре, и каждый из них, помимо любопытства, чувствовал себя пепелом — пу вот точно так, если бы, прия в трескучий мороз домой, вдруг попросить холодной со льда простоквашин.

В комнату не пускали.

А около велись разговоры.

Тут же, у двери, рассуждала баба — уборщица.

— Вчера еще приехавши очень был смутный...

— Проворовался что ли...

— Нам неизвестно.

Внизу у гостиницы, перед ледяным, памерзшим за ночь от ветра крыльцом стояли жители городка. И когда повезли труп, и квартальный Фонариков погрузил рядом с ним, в телегу, вещи покойного — плетеную японскую корзину и черную кавалерийскую сумку, — баба, глядя вслед тронувшейся телеге, заметила, что у покойника ноги толкуются, будто у живого.

Присев, она сказала, здесь же в толпе.

— Батюшки, мил-лас... да ведь я чуяла. Во снях севодня у меня бывалоче, занадобились будто Аксенки дрова, пошла будто я за дровами — т во двор, только одно полено хвачу — аи на меня как целая-то полениница пади. Господи, да ведь это-то он грешный знать трахнул о-блуночью...

Проезжий мужик на низких дровнях, ткнув кнутом лошадь, загреб ногами снег с дороги.

— Болтай, заберут — там те научат сны помнить.

И поехал. А на улице еще долго стоял народ, пока

не вернулся в гостиницу квартальный Фонариков и не спросил.

— Ну, наследства какого еще нашли?

— Ничего. Окромя вот...

Ему показали небольшую газетную пачку с бумажной требухой.

Переславив в пачке какую-то книгу, записки, Фонариков отдал пачку бабе-уборщице.

— Ну, пущай, на растопку годится...

И, помолчав, мрачно прибавил.

— ... а нету ли ценностей каких?

Ценностей нету.

Подумав — врет баба иль не врет, — Фонариков сбтор варешкой с усов иней — желтый, точно пот, и вышел.

— Ишь, хлопот то вам... кыш. Расходись.

Жители хлопотливо, что куры — пошли по улицам.

У каждого крыльца, расходясь, шептались.

Похлопывая от холода рукавицами, с согнутыми у валенок ногами, первыми убрели мужики.

И на перекрестке, у площади, один старик убеждая другого, бацал в снег палкой, и седая умная борода его тряслась по шубе, что лыко.

— Черти, ведь это жа зараза... Понял.

И страшно забеспокоились в городе девушки.

И собирали деньги, чтобы купить венок для А. В. Доброхотова.

От разговоров о судьбе Доброхотова, каждая думала — пожалуй неудачная любовь...

И ведь у каждой от любви сжимается сердце мягко, как губка в руке.

И каждой было жутко и сладко, потому что будто чувствовала каждая у себя в руке это сердце.

И как оно бьется, если зажать его пальцами.

Об этом спросите девушки...

И каждая знала, что она распоряжается здесь любовью.

Разгорались глаза у них ярче клюквы на осенних болотах.

А матери заботливо глядела за дочками, перебиравшимися через улички — подруга к подруге.

И маменьки хмурились, как оконные теплые занавески, когда подбирает их маменька у окошка и следит тихонько за дочкой сквозь мутное, в инее, стекло.

Фирсов тоже шел домой, поддерживая под мышкой пакет.

Он купил его у бабы.

Он чувствовал, идя по улице, что городок спрыснули — будто сонную кошку водой.

Но он знал: что также скоро все утихнет и успокоится, зализывая лапы, как эта старая сонливая кошка.

Дома, по обыкновению, возился Гумар у железной печки, а Климович лежал на койке.

— Слышал?

Спросил Фирсов.

— Да... Я был у Валентины. Она говорит — любовь...

— Не знаю.

— Никто не знает. У Валентины истерика, она просит тебя зайти.

Фирсов ничего не ответил, тоже лег на койку.

Гумар, на корточках, раздувал щепки.

И когда разгорались, скалил белые каменные зубы.

— И-ех...

Это выговаривал он очень мягко.

— И - ех , . . по - лохо, по - лохо . . . завсым по - лохо . . .  
Климович перевернулся на другой бок.

Уж накалились уголья, белели — тише остывших в  
небе звезд, а Гумар что язычник, перед своим богом.

— Завсым плохо . . . и - ех . . .

Климович вскочил с койки.

— Гумар, перестань бормотать. Не бормочи, слы-  
шишь . . .

И Гумар вскочил с кирточек, подбрасывая руки, точ-  
но лопатки.

Голова у него нагрелась и краснела, как медная.

— Бармачи, бармачи, не слышишь . . . Мой бачка в  
Крыму жил, друг — джигит был Мемед, джигит резал  
на дорого, богатых резал . . . ловили, взяли Мемед . . .  
В тюрьме сидит Мемед . . . Месяц и звезды, месяц и  
звезды, скучно . . . Мемед книжал чик - вик . . .

Гумар чиркнул себя по горлу пальцем.

— . . . бачка плачет, ай плохо . . . Джигит кончал.  
Зачем кончал. У джигита руки ноги есть. Что можно  
сделать. Все можно. Собака ис кончает, конь не кон-  
чает, а джигит кончал . . . И - ех, плохо, какой чело-  
век . . .

Вечером, после чая, Фирсов развернул пачку и ска-  
зал Климовичу.

— Федя, давай посмотрим.

Климович как то осторожно взялся за бороду, будто  
боялся, что она разобьется.

— А к Валентине ты разве не пойдешь?

— Нет. У нее, наверное, прошло.

— Может быть — прошло.

И они сели за стол, — подставив ближе лампу.

И лицо Фирсова, гладкое — словно коний мосол, бы-  
ло серьезно, как всегда.

## 8. Документы А. В. Доброхотова.

Фирсов брал бумажки из пачки как - попало, — в этом же порядке они приводятся здесь.

1. Продовольственная карточка Петрокоммуны — 1918 г. на хлеб, сахар, соль, мясо и пустые купоны. Отрезаны главным образом хлебные купоны. Остальные — не все.
2. Удостоверение Штаба Петрогр. Военного Округа от 6/VII - 1917 г. за № 1317/10151 в том, что прапорщик А. В. Доброхотов командируется для постоянных поездок в Финляндию, ввиду чего просят железнодорожное Управление выдать прапор. А. В. Доброхотову... (далее неинтересно).
3. Табачные карточки Петрокоммуны — 1918 г. за несколько месяцев. Использованы купоны преимущественно за первые месяцы. Потом неиспользовано.
4. Студенческий матрикул.  
Петербургский Университет, Юридический факультет, год поступления 1912. И фотографическая при матрикуле карточка.
5. Опять табачные карточки почти за весь 1919 г. Большинство купонов неиспользовано.
6. Свидетельство фирмы Тильманс и Ко. служащему Анатолию Владимировичу Доброхотову за 1914 г. — выдано о службе.
7. Несколько польских писем из Киева за период 1918 и начала 1919 года. Пишет женщина. Вспоминает курсы и о каких - то ласках.
8. Копия заявления в польскую миссию об оптации. Уроженец гор. Варшавы, год рождения 1893-й. Номера и даты на копии нет.

9. Опять продовольственные карточки — эти за 1919 г.  
Использован только хлеб.  
Купоны на сахар, соль, жиры и мясо — не отрезаны.
10. Удостоверение Отдела Управления Петросовета № 624207, 4/IV - 20 г.  
Предъявитель сего  
гражданину
- • •

Командировка.

Доброхотову А. В.  
Управляющему делами Металлургической  
Секции Г. О. Н. З.

Москва

и выезд обратно, сроком с  
сего числа на 7 (семь)  
дней.

11. Снова табачные карточки — 1920 г. купоны совсем  
не использованы.
12. Отсрочка по призыву в Красн. Армию — красного  
цвета. Отсрочка по призыву в Красн. Армию —  
желтого цвета. Отсрочка по призыву в Красн.  
Армию — зелёного цвета.
13. Записная книжка — полна служебными адресами и  
телефонами советских учреждений.

Записи такого рода:

В 12 ч. позвонить в Профсоюз.

В 1 ч. позвонить Учусо — т. Каргельсу.

В 1½ ч. позвонить т. Лимантову о докладе завода  
и о количестве топлива.

В 8 ч. заседание о приостановке заводов.

В 4½ ч. собранно служащих: порядок дня: — за-  
купочн. комиссия о культ-работе, текущ. дела.

14. Опять табачные карточки — но чужие, на имя Веры Флякис. Купоны почти не использованы.
15. Записная книжка летчика, подпоруч. Г. В. Доброхотова, 1916 г. (повидимому брата).  
Пробные полеты — 6, под руководством капит. Тиманова. Подписи военного начальства о сдаче экзамена. Фарман 14.

№ пол.	Месяц и число	Тип аппарата	Продолжительность полета	Число посадок	Дальние полеты	Высота полета	Замечание руководителя
1	Март 28	Ф. 20	35 м.	1	30 кил.	700-200	Перелет с аэродрома Сервеч в Уады. Облачно на 200 м. Пришлось лететь над лесом, сдава урывками, видя дорогу. Благополучно.
5	Апрель 1	B. 470	1.50 м.	1	—	2.600	Разведка, сильный обстрел до 500 снарядов.
11	10	B. 259	—	1	С рядов Жегуленков.	2400-100	Фотографировала Мокрицы-Августого. Стал мотор.
18	19	B. 470	1.5 м.	1	Разведка бомбы	—	В Проинки, аппарат получил 4 пробоя от шрапнели, огня около 200 снарядов.
34	Июнь 2	B. 470	2 ч. 5 м.	1	Бомбардирование дер. Проинки и леса у нее. Сброшено 15 бомб весом 6 п. 5 ф. Сбит фоккаром. Сел за своими окопами у вастенка Иворды. Пробиты оба крыла, рули, гондола, бак бензинов, гавопроводы, радиатор, карбюратор, колеса, ось задняя. Самолет, после спуска, обстрелян артиллерией, но без вреда. Ранен в ноги.		
37	20	B. 674	2ч. 20м.	1	Корректирование. Вследствие облачности, ходили низко.		
66	Июль 17	B. 348	2 ч.	1	Разведка, по приказанию штаба XV корпуса. При подъеме, тучи и ветер, 7 метров. Ходили в тучах по компасу на Н-1200 м. Вынырнули на немцев Но аппарат почти стоял на месте. Вернулись в дождь и шквал. Ветер около 18 до 20 мет. сек. Аппарат сел без пробега. Обстрелян слабо. Поздравляя командир корпуса.		

№	Месяц и число	Тип аппарата	Продолжительность полета	Число посадок	Замечание руководителя
79	Август	B. 228	1 ч. 10	1	Ночной налет на ст. Барановичи с содоком поруч. Никольским. Сброшено 3 п. 5 ф. тротила, 5 бомб по 25 ф. Обстрел.
82	15	B. 470	20 м.	1	Перелет в шт. корпуса; и пред ясные очи.
88	17	B. 957	1ч.20 м.	Разведка ночная	Сбросил 10 зажигательных бомб. Взрыв в дер. Лапатичи вспрят. артил. складов. Представлен к производству в Анне 3 ст. с мечбант. Обстрел ожесточенный, очередями вспрят. батарей. Н-1800 метров. Жив. Оторваны передние колеса. Пробиты водо-масло, газопроводы и сломаны оба руля. Сам шкив

Всего в книжке записано 73 полета, период 1919 — половина 1917 года. Тут же, в книжке, вырезка из Петербургской газеты «Правда» (1919 год).

«Вчера, в 3 часа дня, при ясной погоде, от неисправности в моторе, погиб в районе Николаевск. Вокзала летчик Красного Воздушного Флота т. Г. Дорохотов. Покойный товарищ имел орден Красного знамени за воздушные разведки при наступлении банд Юденича. Аэроплан упал на крышу одного из домов, прилегающих к Гончарной улице, летчик выпал на двор этого дома».

## 16. Листок из блок-нота.

П. К. Р. К. П.

Коллектив Г. О. Н. З.

Тов. Дорохотов, приходите сегодня побаловать-ся чайком. Будет монпасье. — Вера Ф.

На обороте этой записки написано, вероятно Анатол. Владим. Дорохотовым (карандаш химический)

— (аборт)

(сошла с ума)

## 17. письмо.

Тоша, милый, сегодня мы похоронили нашего мальчика. За два дня до смерти он все спрашивал, когда же придет папка . . . а потом стал затихать. В день смерти, когда ему вспрынули камфару, стало легче и он попросил бумаги и карандаш и чиркал, чиркал, говоря, что он папа, но к вечеру ему сделалось хуже, совсем свело горлышко, он только смотрел на меня, ему опять вспрынули камфару. Я поклялась милой детке, что не дам ему умереть, что уйду вместе с ним. Но все средства были напрасны. И когда я стала плакать, он только одно сумел мне сказать, что же нет папки, не плачь.

Тошик, как же мы не уберегли нашего Аденьку, драгоценного нашего мальчика. Все очень тяжело и скучно и этого единственного счастья нет. Если ты не приедешь, я умру, я обещала нашему мальчику, Тоша. Милый, женка твоя ужасно скучает, целует тебя долго, долго, сильно-сильно. Приезжай, родимый, приезжай, как можно скорее. Не оставляй скучать и плакать твою Леку. Мы осиротели, Тоша, ради Бога приезжай. Еще тысячу тысяч целую тебя.

## 18. письмо.

Мамочка, ты все уже узнала, без меня. Но подробности этой тяжести не знаешь. Когда приехала ко мне Лека, она очень скучала, я ее развлекал, старался утешить, чтобы отвлечь от мыслей об Аденьке. И жили мы с ней очень мирно, дружно, ласково, ходили к знакомым, одним словом, жизнь наша протекала очень спокойно. И вот, 8-го числа, когда мы были на рождении у доктора, удивительно милого старика (он в нашей экспедиции), после

ужина зашли разговоры о материнской любви. Лека страшно горячилась, — ты знаешь какая она у нас первая, — потом разговоры перешли на другое, смотрим нашей Леки нет, бросились ее искать, и я ее нашел в гостиной совершив темной, прижалась в кресло и дрожит, дрожит, шепчет мне, что Аденька ее зовет. Я ее успокоил. Так прошло недели с полторы. И вот, 11-го ноября, когда я занимался делами экспедиции, вдруг ко мне приходит наш служитель и говорит, что пришла моя жена. Я вышел к ней и спросил: Лека, ты зачем? — Так что-то скучно, Тоша. Поцелуй меня. Я попросил служителя подежурить в канцелярии, а с нею пошел по садику около дома и по улице, как был, в гимнастерке. Погода, несмотря на осень, была удивительно хорошая и теплая. И мы болтали с Лекой о разных пустяках. Потом она меня опять проводила до нашей чертежной и канцелярии, расцеловались — прошлились, она жаловалась, что ее лихорадит и попросила у меня из походной аптечки немножко красного вина и, выпив пол стаканчика, ушла. И через минуту, вдруг, опять приходит и говорит: Тоша поцелуй меня еще раз.

Я ее начал стыдить, и сказал, что нарочно не поцелую ее, если она будет капризничать. Она сказала — ну смотри, и ушла. А почью меня арестовали. Отобрали у меня револьвер, я его всегда носил с собою, боялся, чтобы не украла Лека, а когда был дома запирал в чемодан. Я думал, ну что же . . . у нас все возможно, а тут как раз шли аресты. Был спокоен и спал в тюрьме. На следующий день приходит начальник экспедиции меня освобождать, и он просит извинения и

говорит, что Лека застрелилась. Я упал. Оказывается, она украла револьвер из под подушки у студента Симанова, когда тот спал, пробралась к нему в одних чулках.

Мамочка, единственная, я патвердел, я не знаю как писать и о чем писать, у меня вертится почва под ногами. Я лечу к тебе, раздели мое горе.

Твой Анатолий.

Я ничего, положительно ничего не понимаю и страшно устал.

19. Опять какие-то табачные карточки.
20. Еще табачные карточки, без купонов — одни копешки 1917 г.

— Все?

Спросил Климович, мигая от лампы, когда Фирсов свернулся в газету пачку.

— Все. Вот он — весь.

И Фирсов подвесил пачку на ладони.

— . . . и письма не отправил.

— И не долетел. А как мы с тобой долетим ли?

— Куда?

— Вот именно, что никуда.

Начали ложиться спать, молча.

Только Фирсов долго возился у железной печки, развесивая носки, чтобы они просушились за ночь.

— Что мы . . . Не мы, жизнь летит. И любовь летит, Феденька. Что наша жизнь — игра . . . Так. И земля, Феденька, летит . . . А мы в этой жизни, ни черта не понимаем. Хоть мы и герои, военная копешка, а за геройством молодость пролетела, земля, остановись.

Климович засмеялся.

Ночью наползала на Фирсова огромная желтая табачная карточка и отстриженные купоны, точно черепашьи лапы в брючках; табачная карточка пухла, глотая табачный дым. И Фирсов жался в угол и чихал-чихал от дыма и думал, -- что вот если сейчас он не вспомнит: какого года эта карточка, то его задушит домом. Он стонал, хотел крикнуть, но вместо крика — одно чиханье.

Ночь эта — душная, странная — как гроза в январе.

Оба, и Климович и Фирсов, проснулись утром черные от сажи.

Вчера забыли потушить огонь. И за ночь накоптела лампа. Черный жир летал по комнате.

— А я то чихал.

Смеялись Климович и Гумар.

Только Фирсов, по обыкновению, серьезен.

— Чего смеешься? Вот живешь, живешь, а потом остаются табачные карточки.

Тогда замолчал Климович.

А Фирсов долго глядел на него.

Глаза большие и круглые — с ресницами жидкими, что грязь. Глаза эти — как зашлепанные колеса.

— Ну?

Спросил Фирсов.

Колеса — вещь простая.

И в глазах будто просто.

Но не у места, оттого страшно.

Тут загрохотал Фирсов. И хохот его режет — как ветром рвутся тугие холсты.

Климович ничего не сказал, надел шинель, чтобы скончее уйти.

Когда хлоинула за ним дверь, Фирсов сразу остановился, точно с'ел кость.

— Ну и дурак! Тела тяжелее воздуха летят, держась магической скоростью. Чем скорее, тем лучше.

И ходил, ходил панкосок: от печки в угол, от угла к печке, чтобы умыть что-то в голове.

Походка у него редкая, широкая, что у большого зверя, по путаная, будто ищет он тропу, а уж ее давно закрыло, и лапы тонут в сугробе.

Тогда подсел он к столику — написать записку.

И когда написал

«Валя, сегодня жди в 10.»

Довольно потянулся, выгибал длинную спину.

Точнонюхал он землю, траву или след — где недавно прошли. И, облизав, заклеил конверт.

— Гумарок, по пути занесешь к Валентине Петровне, ладно?

И только ответил Гумар:

— Занесешь . . . ладно . . .

Как вспомнил Фирсов — что сегодня ночью опять греть будут ножки белые и пахучие, как папироска . . .

И, про себя, невидно, неслышно усмехнулся.

Этому он научился у лошадей.

— А земля все-таки летит . . .

И опять незаметно улыбнулся.

## 8. Трактир купца Тряпкина.

А. В. Доброхотов ракетой влетел в город.

А что такое ракета?

Ракета — вот.

Ра—аз . . . вспыхивает, и с шипом вьется, вдруг треск — лопнула — и, осветив шарами, со свистом спускается и — потухла . . .

Это можно хорошо показать зубами.

Могила А. В. Доброхотова у Иопы на Буграх.

Девицы поставили крест, обвив венком из бессмертников.

Три недели по городку перебегали слухи — с мягкими лапками, что мышки.

И сразу прекратились, будто их прихлопнуло.

Почему?

Трактир открыт. Купца Тряпкина.

— с вином и прочим.

Так на вывеске.

И опять обыватель в шубе — тот что бацает палкой в снегу, и у него умная старая борода треплется по шубе, как седое лыко, — стоит на перекрестке и рассуждает.

— Ты что думаешь? ... обожди, монополька будет. Каждой стране требуется народ веселой ... Не иначе. Вот откудова свобода. — Понял? Народ веселой требуется. Пар выпустить требуется... Понял? Они — И он тыкал палкой в облако.

— ... чимберлены... Понял?

Старик этот всю жизнь свою выписывал «Ниву» — до последнего номера перед революцией. Из всех приложений составилась у него библиотека.

Фамилия его была Ютапов, и дед его — крещеный татарин — торговал изюмом. Он же только читал и приучил молодежь бегать к нему за книжками.

И звал себя в городе — «культурным центром». А потому, что ходя в церковь, перестал ходить к причастию, иопы с погоста стали дразнить его просто — Центром.

— Что значит причаствие? Что значит тайна? То есть ... в вос—по—ми—на—ние ... Да я воспоминаю

А поповского вина в храме не хочу. — Ежели тебе вино требуется, иди в кабак.

В революцию же занимался тем, что постепенно и тайно расторговывал свои книжки. А при продаже каждой книжки, кряхтел так, точно его душили.

— Я же русский . . . я — же душу меняю . . .

Дед его помер в 1917 году (а отец гораздо раньше). И помирая, все твердил уже седому внуку.

— Ты смотри . . . ты смотри . . .

Что хотел сказать дед — никто не понял. Нынче Ютанов любил посидеть в открывшемся трактире, попить чайку. И каждый день читал в общей зале обявление —

На стол как-то уборы  
палки, зонтики и проч.

ложить  
строго воспрещается.

Всегда спрашивал прислугу:

— Что за «ложить» . . . Эх, Азия — буржуазия.

В каждом русском городе всегда есть хоть один такой старик.

И о нем всегда надо писать.

Почему-то они всегда самые интересные.

Если бы жив был еще купец Тряпкин — было бы куда лучше.

Да несчастный случай — выше сказано: утонул в бадье с кумышкой под самый крещенский сочельник.

Год уже прошел. Старика нет. А фирма опять воскресла.

О Доброхотове же все осталось тайной.

И по четвертой неделе даже девушки перестали о нем думать. И разве те из них, у кого особенные глаза —

как зацветшие мутные пруды и около глаз синяя широкая тина — кто особенно часто бегал к акутерке Зайченко, — те еще; нет-нет, да и вспомнят.

В верхнем зале трактира, устраивались танцы — «танцы сверх алонса, танцы до шести, танцы до упаду».

Городок начал танцевать. Где уж тут помнить. Старик же Ютанов, — наблюдая в окно из первого этажа, как идет на танцы, или просто на прогулку Валентина Петровна, с провожатыми, — а провожатые эти, обыкновенно, Климович и Фирсов, — сердился.

Не любил ее Ютанов. И всегда говорил:

— Смотрите . . . вибриону требуется две запятые.

Не правилась ему она губами — дерзкими, как кровь (эти губы особенно хороши на морозе) — или тем, что похожа она была на сухого щеночка — маленьского и ласкового. Щеночек ласкается ко всем.

И когда на танцах подходил к ней Климович, она вдруг отказывала.

— Любчик, обещала это я Фирсову, с тобой ту-стен . .

А когда Фирсов —

— Детик мой, это я с Феденькой.

И, чтобы не сердились, приказала им к следующему разу составить точное расписание.

Но никто и не мог на нее сердиться.

И этот следующий раз выпло так.

У трактира купца Тряпкина вывесили плакат: красноармеец развевает знамя, и на знамени написано: «Грандиозный святочный Бал-маскарад. Артдивизиона полный оркестр, билеты в культурпрокоме, дивиз. и кинемат. «Алор» . . . —

Дальше афиша.

И еще — «маски обязательно».

Еще — «всякая девушка, получившая большее коли-

чество поцелуев — получает мужа по желанию из при-  
существующих. Приз, Приз!»

В нижнем этаже трактира оставался буфет. В верхнем  
только танцы. По потолкам шел дым. Из коридоров  
сквозило кухней. По лестницам и комнатам — все в  
разных костюмах. Слышно пудру.

Маски глядят как точки. И в воздухе какая-то липкая  
сывороть. И оттого, что пестро, цветные костюмы, и  
липко, и людей много, и люди сразу сходятся, прилипая  
как-то, и оттого, что не видно лиц, все похожи, одного  
вкуса — от всего этого казалось, будто попал в коробку  
с монпасье.

В буфете, почему-то, сидели все турки и пили пиво.  
И особенно умело разливал по бокалам один — круг-  
ленький и упругий, смахивающий на пробку.

Это взволновало даже квартального Фонарикова, и он  
раза два прошелся через буфет.

Турки приняли его за костюмированного, и решили  
качать.

Но он обиделся и не дался.

Каждому мужчине были разданы пачки ювитечков для  
собирания поцелуев. И все мужчины ловили в комна-  
тах женщину, маленькую и легкую. Костюм у нее был  
из разноцветных кусочков. Каждый кусочек подымался  
и туда можно целовать — в голову тело.

Лицо целовать она не позволяла.

Не знали — кто она.

Но решили так. Или это акушерка Зайченко, или Ва-  
лентина Петровна.

Спорили.

— Нет у нее живот мягкий.

— А коленки то, будто, повыше.

— У Зайченко, у той, такие . . .

Ютанов, сидевший в буфете без маски (единственный):  
— мне и ё требуется, я почти маска) — учил.  
— А ты середний кусок подымы, сразу узнаешь.  
Наконец, подоспел час присуждения приза.  
И когда потянулись дамы . . .  
И подсчитало жюри квитки . . .  
И балалаечники грянули туш —  
к столу подошла женщина из кусочков и сняла маску.  
— Ваш приз.  
Оказалось — Валентина Петровна.  
Тогда уж все сняли маски.  
Пробковый турок — Лепукали, остальные турки —  
товарищи по дивизиону. Также — Климович и Фирсов.  
И жюри предложило приз.  
А кругом стоял хоровод и смеялся.  
Валентина Петровна присела.  
— Господи, об этом-то я не подумала . . . Разве вон  
того мохнатенького . . .  
И она ткнула на Климовича.  
— Или нет . . . нет, позвольте. Лучше бы долгень-  
кого . . .  
На Фирсова.  
Тут Лепукали не выдержал и, побежав в сторону,  
фыркнул из-за рта пивом, точно сиг, балуясь в воде.  
— Или нет, мохнатенького . . . Нет . . . Да я же  
маленькая, что я понимаю. Нет — нет.  
Прыгнула, хлопая в ладоши, запела.  
— Мне нельзя. Я — невеста, невеста. У меня есть жених.  
Но жюри упрямилось.  
— Жених далеко. Извольте выбрать-с . . .  
И сгрудились вокруг еще плотнее.  
Валентина Петровна посмотрела: стоят теплые, плот-  
ные — сейчас бросятся.

— Ну . . .

Начиналось словно в серьез . . .

Валентина Петровна еще раз посмотрела и руками даже щелкнула, как игрушка.

— Ну тогда дайте того . . . долгенького . . .

Апилодисменты. В бокалы с пивом кинули соли, и они запелились.

Помел звон бокалов.

Заставляют Фирсова поцеловаться с Валентиной Петровной.

Валентина Петровна увидела, что Климович с бокалом отходит к стене.

— Феденька . . .

Она подбежала к нему.

... Лапочка, да ведь все шуточки. Шуточки. Ну. Ну, давай чокнемся. Господи, неужели ты этого не понимаешь. Ну . . .

— Нет.

У него вдруг надулись и охолодели, точно снег, щеки. И он брякнул бокал об стену.

Брызнули осколки и пиво.

Климович быстро вышел из залы.

Валентина Петровна покраснела, дернула волоса . . . и с криком, почти хрипя —

— вот, вот, вот, вот,  
выскочила за ним.

И, догнав в подъезде, обхватила обеими руками его голову.

И, чувствуя около губ своих ее милую и родную шею, и горло — где что-то хрипит и рвется, он мог сказать только одно:

— Валечка . . . радость моя . . .

## 10. На иголках.

Когда туманы опутают море, и льды, коробясь от ветра и вадуваясь, трутся и кропчатся — никто тогда не выходит в море.

В стране моей — нет моря.

И когда тоска — не уйдешь в волны.

Военспец Фирсов перевелся по рапорту из 1-й батареи в 3-ю.

То-есть из той, где он служил вместе с Климовичем.

Лепукали, подписывая приказ, велел позвать Фирсова, и, показав ему собственный его рапорт, строго спросил.

— Это что же такое . . . а мотивы?

Фирсов зажал рот. И гладкое его лицо, неправильное, во точное, как затвор у орудия — замкнулось.

— Не можете?

переспросил Лепукали.

— Не могу.

Как выпалил.

— Стыдно, я этого не допущу . . .

Лепукали встал из-за письменного стола и прошелся по комнате к двери и обратно, и казалось, — что это усталая рыба гуляет в затоне.

— Стыдно! Вы думаете, мне не надоело, мне не тяжело . . . я шестой раз пишу рапорт в Москву, и никакого ответа . . . Вы подумайте . . .

И он подошел вплотную к Фирсову.

— . . . ведь наш долг все поднять . . . А вы, товарищи . . . из за какой-то живалой бабы . . . ф—фу!

Лепукали плеснул рукой.

Фирсов, отдав честь, отодвинулся к двери.

— Разрешите выйти, товарищ комиссар.

— Можете.

И когда Фирсов выходил, Лепукалин крикнул ему вслед.

— Приказ я подпишу . . . Только стыдно, очень стыдно, товарищ.

По дороге попадались Фирсову какие-то старухи и оглядывались на него.

Должно быть, — он разговаривал сам с собой.

Он думал о Лепукалине — что это немудрый, но очень честный и преданный работник, и что, благодаря таким, как он, год от году крепнет армия.

Тут же, почему-то вспомнился старик — бригадный генерал (это еще на немецком фронте). Старик любил говорить прaporщикам.

— Честь погончика — честь России, молодой человек. Это — с все. Извольте помнить. А тут что . . . Тут — с . . .

И он тыкал в голову.

— . . . серое вешество да кости. То — то — с! Пренебрите . . .

Чем пренебречь — генерал не договаривал.

На поле, на буграх — снег уже порыжел.

Воробы знали, что крещенские морозы прошли.

А у казарм дивизиона эти рыжие как снег, добродушные птицы весело чирикали носиком, расшвыривая конский павоз.

И Фирсову хотелось стать этой русской птицей, с очень удобною и дешевой душой.

Когда он вернулся домой, Климович сидел у стола и перечерчивал съемки осенних маневров.

— Федя . . .

сказал Фирсов, снимая шинель.

— . . . надо пам поговорить.

— Да.

— Помнишь, мы вместе ловили бабочек.

— Да.

— У нас ведь длинная жизнь.

— Да... Собственно, ты о чем?

И его черные глаза (затянутые мохнатыми, как у зверя, ресницами) — любившие смеяться, но не умевшие говорить, загляделись в Фирсова.

Фирсов, тыльной частью руки, провел по подбородку.

Небритый, щетинистый, как жесткая шкура — он скрипел.

— О чем... О Валентине. Ты ее не взял, как женщину?

— Нет...

И Климович тут покернел, как уголь.

— Ах, дурак, дурак. Возьми, возьми. Я думаю, что ты ей больше нравишься. Вот увидишь, все тогда переменится.

— Не будем говорить о Валентине. Но, все-таки, спасибо, дай руку.

Так шли вечера.

А, может быть, так шли и дни.

И дни и вечера — сырье и темные, как перед рассветом.

Это — похоже на то, что я видел ребенком, гуляя с мамой по Зоологическому саду (каждый день).

Тогда я плакал — зачем попугаи у входа сидят на цепочках, пристегнутых к левой ноге.

О...

Если бы знать по настоящему, хоть один день, волка, тогда можно бы понять многое в этом мире.

А у нас — все то же...

О чем и раньше говорил Ютанов.

— Видишь. Я был прав: «Виброну требуется две запястье.»

Это все оттуда же, из первого этажа Тряпкинского трактира, когда Валентина Петровна выходила опять гулять в прогулку, а сбоку — Климович и Фирсов.

— Вот собака . . .  
кричал Ютанов.

— . . . я бы ее пристрелил.

И оттого, может, скучно было в небе.

И скучно в подворотнях.

И псы прислушивались — не будет ли чего . . .

Даже перестал читать газеты портной Бурштейн, — тот самый — у кого самовар отникелирован, а трехвершковый К. Маркс покрыт позолотой. — Есть выражение — «сидеть на иголках». Так вот городок «сидел на иголках» и ждал, почти с нетерпением, когда будет позволено ему уколоться.

Только квартальный Фонариков спокойно обходил его утром, днем, вечером.

А ночью дежурил в участке.

И красная звезда, заточенная в овал скрестившихся веток, все также безмятежно была приколота к левой стороне его полушубка.

## 11. Ночное.

Однажды когда Климович возвратился, в час почты, от Валентины Петровны, а Фирсов уже лежал, этот разговор начался неожиданно, также, как приходит в страну ветер.

— Ну, как?

спросил с кровати Фирсов.

— Чего как?

— Я спрашиваю — взял ты Валентину или нет?

— Чо—орт, что ты ко мне привязался, что тебе надо . . .

Климович затопал ногами.

— . . . какое тебе дело . . . взял, не взял . . .

— Дурак. Надо брать, —

сказал Фирсов и отвернулся к стене.

Если за окном сырая, что кисель, тьма, а в печке угли темные и гуще дурной крови, и людей не видно, потому что свет выходит только из печи, и сумерки качаются перед глазами, легче паутин — разговоры тогда темны и зыбки.

И качается в этот час душа человека.

Фирсов говорит.

— Федя, как ты думаешь . . . Надо было Доброхотову стреляться?

— Не надо.

— Почему не надо?

— А почему надо?

— Нет, ты прикинь на руку, как пакетик. Что ему оставалось?

Климович засмеялся.

— Да . . . Если так, так и мне надо стреляться?

Молчали.

Фирсов боялся, что сказанные слова тоже закачаются перед глазами.

И свяжут.

Климович подошел к его кровати и пощупал около, руками, тьму.

Такой жест.

— Ты знаешь . . . Мы, кажется, это потеряли.

— Что?

— А вот, почему надо, или почему не надо . . .

— Мы . . . это я понимаю . . . но вот старуха . . .

— Какая старуха?

Климович испугался.

Ему показалось, как гладкое, коньё лицо Фирсова совсем замерзло, и глаза вылезают из впадин, что обглоданные вязкие мосталыги.

Он отошел, чтобы сделать себе постель.

Потом лег.

И думал — если Фирсов сойдет с ума . . . сойдет с ума.

Но ничего не придумал.

Печка потухла.

Они не говорили, но каждый чувствовал, что другой не спит.

И каждому лень было встать и задвинуть вьюшку от печки, чтобы не уходило тепло.

Климович не может вытерпеть.

Некоторые слова бывают, как гвозди.

Забешь не туда — и мучаешься . . .

Чем вытащить?

Кашлянул.

— Фирсов!

— Что?

— Ты не спишь ? . . .

Фирсов молчит.

— . . . а, ведь, вьюшка, открыта . . . Фирсов?

— Ну? . . .

— Я говорю, открыта вьюшка.

— Отстань.

И опять тишина. Этой тишины — когда она, как зверь, вдруг выкинет неизвестно, Климович не вынес

— Фирсов!

— Что?

— О какой старухе ты говоришь?

— Это давно . . . отстань.

На улице ночь.

Древняя.

Точно тысячу лет назад.

Или две.

Даже, три тысячи.

Все эти тысячи идут.

И даже из комнаты чувствуешь, как тяжело она ступает в холода и в сугробах.

И как кругом молчат поля.

И, даже, зверь не смеет кричать.

Климович заснул только утром — когда, измучившись и подобрав ноги к животу, вдруг почувствовал, что их внезапно сводит сладкая сонная судорога.

## 12. Иней.

В пять часов вечера, батареи вернулись с учебного проезда.

И когда орудия выстроились и, после переклички, люди отпрятали лошадей, Климович подехал из своей батареи к Фирсову.

Тут заметил Фирсов, что у Климовича лицо цежевано, и выварено, и травянисто — как у лошадей кало — желтое.

Но может быть — как кало у лошадей — желтое, в инее солнце.

— Что с тобой? Как скверно, как плохо.

— Ничего. Ты помнишь, о чем говорил ночью? . . .

Фирсов замахал руками.

— Ну — ну — ну, пошел . . . о чем . . .

— Нет, ты мне скажи, какая старуха?

— Фу, чорт. Далось. Ну старуха . . . давным давно читал в «Красной» . . . отправилась 50 лет . . .

— А — а . . .

Климович собрал в кулак повод — и лошадь поддала мордой.

Тут Фирсов улыбнулся — это очень редко.

И собрал на лбу кожу.

— Анекдот . . . Постой, как там в газете . . . Социалистическая улица, № 9 от разочарования в жизни.

Климович, расхочатавшись, дал шпоры — и повел лошадь галопом к своей батарее.

И иней на уздечке, лошадиных мохнатых мордах и по бороде Климовича блеснул мутным, что слово, солицем.

Издали, чуть сгорбленно, будто зверь из поры слепил с лошади за всем этим Фирсов.

И думал про Климовича.

— Зря форсишь . . .

### 13. Игра.

Февральский снег — мягок.

И соленый — будто слеза.

Он уже ждет воду и, потому, тяжел.

Таким снегом хорошо играть в снежки.

Сегодня, за городом, по ностру Ионы на Буграх, Валентина Петровна бегала с Климовичем и Фирсовым.

Бросались снегом.

И Валентина Петровна была веселая, пушистая, снежная, как ветер — легкий по мягким дням.

Когда шла домой, она рассказывала.

— Тупики мои . . . снегу то . . . снегу . . . Помню однажды . . .

— Валя . . .

оборвал ее Климович.

— . . . опять из своего архива. Довольно.

Она смеялась.

— Ах, лапочка. Какой ты нервный. Полечись.

На пороге у палисада спросила, опять смеясь.

— Ну, детки. Кто сегодня зайдет?

Стонет на ступеньке — хорошенькая.

На морозе у женщины хорошеют глаза и губы.

— Так как же?

Климович покерниел.

— Валька, не смей играть. Пойдем, Петя.

Простились.

От того, что зашло солнце — улицы сразу посерели и осунулись.

И нтти по ним было скучно.

Дома, сняв сапоги, как всегда, друзья улеглись.

Климович вздохнул.

— Петя, ты не заваришь чаю?

— Вставать . . . (Фирсов зевнул).

— А знаешь, Петя, это мне надоело. Надо что-нибудь одно.

— Надоело, эх ты прыщ мохнатый.

И Фирсов засмеялся.

— Отчего то ты сильно веселый, а?

— Отчего. Ни отчего. Что надоело-то?

— Да все.

— Хочешь выпечу ? . .

— Ну . . .

Фирсов, встав с кровати, опять засмеялся.

— Подожди . . .

И полез под кровать, вытаскивая сундучек.

Суидучек был обит жестянкой — такие суидучки выделявали солдаты на фронте.

Фирсов стоял перед суидучком на коленях и рылся. И Климовичу было смешно глядеть на ноги Фирсова, в белых носках, (как шевелились желтые на носках пятки).

— Вот!

Сказал Фирсов.

И вытянул из суидучка ноги.

Климович вскочил.

— Зачем?

— Зачем? Отличная игра. Я вчера без тебя пробовал. Видишь, в барабане семь камер. Куда-нибудь я закладываю один патрон. Потом вот так . . .

Фирсов чиркнул барабаном револьвера вдоль по рукаву.

— . . . И теперь вот.

Приставил револьвер ко лбу.

Спустил курок.

Затвор щелкнул сухо — как ноготь об ноготь.

— Пустая.

Сказал Фирсов и бросил револьвер.

— Попробуй.

Климович осторожно поднял. Подёржал в руках.

— Ну, а если как раз угадаешь . . .

Фирсов засмеялся.

— На то и игра.

Климович рукой нашупал сердце. Сжал руку, поймал стук.

— Ну ладно, значит так . . .

И он чиркнул барабаном револьвера по рукаву вдоль, также как Фирсов.

— Теперь сюда . . .

Дуло врезалось в юбку.

— Прощай Фирсов!

И не узнав своего голоса, пожал курок.

Перед глазами метнулась искра — уловил секунду, когда треснул ударник.

Крикнул.

— Пустая!

И тоже бросил револьвер об пол, будто отвалил чугунную тумбу от сердца.

И встал, чтобы полотенцем отереть со лба вдруг выступивший пот.

И через десять минут расхохотался.

— Жив.

Хохотал.

Не знал, что сделать с ногами.

А в голове чесался от радости каждый волосок.

Запел.

— Замечатель-но-е сре-ед-ство. Заме-чательное  
чре-е-е-е-ство . . . За-мсю . . .

— Брось дурить! Заварн-ка чаю . . .

Это был первый урок.

На следующий день, когда вернулись из дивизиона и отбывали, Климович услал Гумара.

— Ну, Петя, попробуем.

— Брось.

— Ну, один разок.

— Брось.

— Я — первый . . .

— Пошел ты к чёрту.

— Ну дай. В конце концов, не твое дело, я не понимаю . . .

— Револьвер мой. И не дам.

-- Я не понимаю, в конце концов . . .

-- Отвяжись! Я тебе говорю!

Климович лег.

-- Ну ладно. Тогда я украду.

Фирсов выбросил револьвер из под подушки.

-- Извольте. Стреляйтесь.

Посмотрев есть ли патрон, Климович чиркнул по барабану.

И взял дуло в рот.

Спустил курок.

Ударило в зубы.

Крикнул.

-- Пустая . . .

И спать встал, чтобы отереть пот со лба.

-- Забавная штука.

Фирсов вжался в кровати.

Злой.

-- Теперь прикажете мне?

И, не дотрагиваясь до барабана, -- сразу нажал...  
Осечка.

Еще нажал.

Затвор жаркнул.

-- Не то. Пустая.

Поднял курок и пальцем перевел барабан на соседнюю камеру.

Как раз тут встал патрон.

Из камеры глядела медная капсюлька.

-- Вот видишь! Рядом.

На третий день опять услали Гумара.

На четвертый -- в дивизионе заметили, что Фирсов и Климович необыкновенно развеселились.

На пятый — когда усылали в гости Гумара, он отказался.

— Был. Куда пойду, негде ходить, вездё был.

— Ну иди на кухню . . . в клуб . . .

Эти дни были жгучие, как огонь.

Пробовали не по разу, а сколько придется.

И револьвер тянул, точно водка.

И от него голова горячая, но веселая и ясная.

Это — запой.

Фирсов кривил губы.

— Ну, скоро нарвемся . . . Может быть эта . . .

Сказал он, передавая револьвер Климовичу.

Климович лег.

— Куда стрелять уж нё знаю. Все места перепробывал.

— Стреляй в задницу, верное дело.

Расхохотались.

— Не смеши. Мне кажется я сейчас помру. Вот!

Отогнул рубашку. Взял в руку сердце.

— Оно!

Приложил дуло.

Хотел нажать, как раскрывается дверь и входит Гумар с запиской.

— Ответа спрашивает. Ответ будет?

И, увидав с револьвером Климовича, упал.

— Брось, брось . . . Собака не делает, человек делал.

И — и — . . .

Закричал он и выбежал.

Фирсов выхватил револьвер у Климовича.

— Ну, будет хлопот. Надо вынуть патрон.

Поднял курок.

И сердце царапнуло, что иглой.

— Смотри.

В камере против курка лежал патрон.  
Климович потемнел, но ничего не сказал.  
Записка-же от Валентины Петровны.  
«Петенька, мне скучно. Приходи без Клима...»

Через четверть часа от них было отобрано оружие и под караулом они были доставлены к комиссару.

#### 14. Розыгрыш.

Нынче рано взялась весна.

По Локве обозначились черные маслянистые зажоры.  
И мальчишки боялись бегать на коньках.

А воробей уже старался огулять самочку.

В городке были доволыны, что все как-то кончилось,  
и что два друга успокоились — вторую неделю под арестом.

У девушек опять заблестели глаза.

Через караульных передавали они заключенным записочки и пирожки.

А Валентина Петровна заперлась дома.

Говорили, что теперь она молится по ночам.

И все девушки в городе — ей завидовали.

Только Ютанов — старик гремел в трактире.

— Ее, собаку, пристрелить мало!

А Иона на Буграх пел великопостными колоколами.

И может быть оттого стало на душе тихо.

Тогда, по приказу комиссара Лепукальпа, они были освобождены.

И когда явились — Лепукали не узнал их.

Так со спа — обливвшись холодной водой замертьеешь,  
а потом побежит от сердца ясная и горячая кровь.

Но что расскажет кровь . . .

Тот — кто понимает воду, поймет и кровь.  
Ведь и в диком камне есть правда.  
Знающий травы скажет: вереда — горькая трава, но  
чем горше она — тем дороже.  
Также и женская любовь.

И в этот вечер пришел Лепукали, и дивизионные с  
девушками.

Те — что заботились о пирожках.

И Валентина Петровна — сегодня в черном закры-  
том платье.

И от волос ее пахло простой и скромной лавандой.

Климович тихо пожал ей руки, улыбнулся в бороду,  
и, хотев сказать что-то, вдруг отошел.

Потому что — кругом народ.

И она хотела.

И глаза у нее были обиженные. И руки — обижены.  
И только тогда, когда Климович обходил стол, нали-  
вая каждому, она вдруг прихватила его за локоть.

— Феденька...

— Ну, что...

— Мне очень тяжело.

Они отошли от стола, в угол.

— Мне очень тяжело.

— Да...

— Если бы знать раньше...

Тут она посмотрела на Фирсова. И Фирсов из за  
стола посмотрел на нее.

— Феденька, ведь теперь же мне страшно решать.  
Как мне решать?

Из этих глаз, чуточку наклонных, глядела не Вален-  
тина Петровна, а старая бабушкина кошка, когда ба-  
бушка вяжет напульсники, а кошка неподвижно,

целый час глядит на клубок ниток в бабушкиных уютных коленях, и кажется, что кошка, конечно, смотрит не на клубок — что в кошачьей желтизне зрачка не клубок, но что же...

И Климович сказал.

— Ах, уйди.

Над столом уже подымается пар.

И оттого, что много людей и много папирос — тускнеют потолки.

Водка, как веселый дым, ходит в теле.

И даже Лепукалин говорит о любви.

— Стыдно, товарищи. Физиологический акт. Из любви человека не убьете...

— Убью...

Улыбнулся Фирсов, проведя пальцем по подбородку (чисто ли выбрит...)

— Почему? Вот вы всегда говорите — рабочие руки, мозолистые руки... А вот мои руки...

И он протянул их над столом.

Руки были аккуратные, с натянутыми, как мускулы, буграми. У волка тоже на лапах мозоли пухлые и тугие.

— Надо только подумать, простая арифметика. Семь лет войны, товарищ Лепукалин. Семь лет крови... А совсем простые руки.

Все засмеялись.

А Лепукалин, плеснувшись в стуле, что рыба, сказал.

— Не марксистский подход.

И все засмеялись еще громче.

В звоне рюмок — и то есть хмель.

От обманчивых глаз соседки — и то сжимает нежно голову.

А когда в пирушку запотеют зеркала — и стулья у стола полезут в стороны, тогда кричит всегда Фирсов.

— Кульминация!

И все кричат в голос.

— Кульминация!

И выкидывается тогда какая-нибудь дерзкая штука.

— Разыграть Валентину Петровну!

И у соседки зря целуют руку.

Все равно чья . . .

Только бы пахло женщиной — как водка водкой.

— Разыгрывать!

И Фирсов, похлопывая Климовича, шепнул — смешком.

— Давай-ка, брат, серьезно. Уж кому, так кому . . .

Столько дыма, что он падает в бокалы.

— Тянуть только им . . .

И опять у соседок зря целуются руки.

Когда Климович потянул из папки жребий — рука чуть дрогнула.

— Пустая . . .

И он откинул бумажку, как тогда револьвер.

Но бумажка падала медленно.

И с новыми рюмками — новый гам.

И не знают, куда сунуть окурок — в яблоки или в соусники.

В эту минуту женщина нам нужнее вина.

А любовь — горьче вереды.

Валентина Петровна — на коленях у Фирсова.

Она — долго смотрит, как Климович щиплет темную свою бороду.

Пальцы у него белые, как овцы.

Локтем Валентина Петровна упирается в стол, в руке — между пальцев, указательным и средним, — пустая рюмка.

Так — она тихо покачивает рюмку.

— Миленький, не люби ты меня. Я — стерва.  
Климович, вынув рюмку из ее пальцев, отставил.  
— Разобьешь . . . стерв то только и любят. А ты  
как думала?

Тут Климович встал, и, набросив шинель в накидку,  
вышел.

Кто-то крикнул ему в догонку (— кто он не рас-  
слышал).

— Ты куда?

Он хотел ответить — сейчас . . .

И забыл.

### 15. Мотька.

В семь часов утра — за заборами пегие рассветы.  
И мартовский снег вял и тонок.

Когда идешь по нему, он хрипит и тает под ногой.

Квартальный Фонариков в валенках подымается по  
лестнице к комиссару Лепукальну, печатая на ступень-  
ках огромные, сырье следы:

Оттолкнул валенком от дверей желтую Ару. Она дико  
взмахнула хвостом. Фонариков прямо прошел к ко-  
миссару.

— Товарищ Лепукалин, товарищ Лепукалин . . .

Если над прудом ночью лодка с огнем, в пруде на-  
верное меньше смятения.

— Проснитесь . . . и-ей, товарищ комиссар.

— Чего . . . чего?

— Батарейный — вап — Климович — отправился . . .  
в публичном доме.

Лепукалин вскочил.

— Как . . . где ? . . .

— У Лепатихи.

В просоньях схватился Лепукали за носки.

Вытер ими нос.

— Что же это такое, что же это... как же это, как?..

— Очень просто, в нужнике.

В это же время Фирсов провожал последних засидившихся гостей и, когда запыхавшийся вестовой комиссара прибежал к нему с новостью, Фирсов крикнул.

— Где?

И лицо его стало вдруг белее и суще кости.

За городом, на перепаханных огородах, где уже чернеет из под прозрачного кисейного снега темный земляной гной, — у крепкого и желтого, как копыто, дома бабки Лепатихи, с голубем, выструганным над крыльцом — толпа.

Немного расстушились, чтобы пропустить в дом доктора Фаворского, с посохом и котиковской скуфейкой, похожего более на попа, чем на доктора.

В избе — следствие.

Допрашивают Мотьку — левицу круглую, но жидкую, белую, налитую водой.

В ушах у нее цыганские бронзовые подвески.

Когда она говорит — ее сырье, узкие губы вортятся, что червики.

Из сеней, где валялся у открытой двери деревенского, в щелях, сортирчика, труп Климовича — его перенесли в избу, на репсовый диван.

И сейчас, когда Мотька говорит, она часто на него покашивает левым, безбровым — как у птиц, глазом.

Будто справляясь: — так-ли... .

— Они уже пришли к нам в состоянии, но из себя были вполне твердой.

— А что он говорил?

— Ничего он не говорил . . . Они только сказали мне — ложись.

— А потом?

— Сказали — ложись . . . Потом ничего не было.

— Что ты врешь.

— Я не вру, спросите бабушку . . .

И Мотька утерлась рукавом.

— . . . они, конечно, побаловавшись, спросили у бабушки квасу . . .

— Ну, а в стакан, в квас он ничего не насыпал перед тем, как выпить, это видела?

— Нет не видела.

— Ты, сволочь, не смей врать.

— Я не вру, спросите бабушку.

Следователь передал доктору Фаворскому бумажку с подноса. На этом же подносе еще стоял графин с квасом и стаканы.

Следователь сказал.

— Как же она не видела, он же при ней должен был насыпать.

Махнув рукой, он опять взгляделся в Мотьку.

— Что, у вас всегда дают квас?

Мотька долго думала — и после покачала головой.

Бронзовые подвески в ушах у нее тряхнулись.

— Нет. Кто что требует . . . Иные хотят пиву . . .

Тут сказал доктор, спрятав бумажку в бумажник.

— Повидимому циан. Я завтра узнаю.

Следователь, молча, ему кивнул. И снова обратился к Мотьке.

— Всё-таки ты должна была видеть. Ведь он пил при тебе?

— Нет, не при мне, я от них была отвернувшись . . .

Мотька вдруг покраснела, будто за кожу пустили ей краску, и она снова утерлась рукавом.

— . . . чтобы оправиться.

Следователь, незаметно пальцем придавил улыбку, как муху.

— Ну, а что же было дальше?

— Далее ничего не было. Они, спросивши — где отхожее — вышли.

— Ну и что же, долго ты дожидалась?

— Пообождавши с четверть часа, я пошла к бабушке, говорю ей, будто заснул гость там, ведь они были в состоянии . . . Как бы говорю, не замеря. Она мне говорит, ну так что, поди разбуди. Вышла я в сени и гляжу они лежат, ручка у них за плинтус схвативши и около их наш Васька бродит, кот. Мне сделалось нехорошо, и я побежала сказать бабушке . . .

Тут вмешался квартальный Фонариков.

Слова у него простые и мысли простые, что бляха с номером.

— А цепостей каких при ем не было?

И он кашлянул строго в рукав.

— Не знаю, мы не смотрели.

Мотьку арестовали по подозрению в убийстве.

Когда она вышла на крыльцо — снова расступилась толпа.

Мотька шла, прихрамывая, оглядывалась на народ и улыбалась.

Повидимому — она не совсем понимала, в чем дело.

Сзади несли труп Климовича понятые.

А старик Ютанов в толпе тряс бородой по шубе.

— Я — жа говорил . . . я жа давно говорил . . .

Но его со злостью оборвал Фирсов, меняясь в лице — будто вялый снег.

— Что ты говорил, ну что ты говорил?

Старик остановился, боязя о снег палку.

— Ты мнё старому человеку грубить? Которого все уважают, а ты грубить . . . По-годи!

И он пригрозил ему палкой.

И Фирсов, отойдя, пропустил сквозь зубы.

— Старый дурак.

## 16. Алый гроб.

День был ясный и теплый.

И пахло яблоней.

Это бывает — очень ранней весной, когда снег раскинет, но почки еще спрятаны в ветвях.

На лафете, везли алый гроб, с фуражкой на крышке.

Венок, с широкой красной лентой: Дорогому товарищу и командиру Ф. Климовичу — 1 Батарея.

Венок от дивизиона — из слок.

От девушек — из вербы, теплый и серый, что овечье стадо.

Впереди гроба, за лошадьми — певчие.

Впереди певчих, поп — сухонький и высокий — как карандаш.

А за гробом, поддерживая траурную Валентину Петровну, Фирсов и комиссар Лепукалин.

Знакомые, многие из городка, девушки.

Сзади Гумар.

И уж сзади, за Гумаром, тарахтя передками, звения частями, 1-ая батарея, при всех орудиях.

К погосту Ионы на Буграх.

Пока шла обедня, комиссар Лепукалин, сидя на паперти, покуривал.

В голых и в хрупких еще ветвях и в солнце трещали воробыши.

Сюда же подсел Ютанов.

Долго косился — одним глазом на воробьев, другим на Лепукална.

Надоело. Отвернулся у шапки наушник — говорить мешает.

И опять кивнул на воробьев, и борода, от нетерпения полезла по шубе, что щепки.

— Воробей нонче сходится . . .

Улыбнулся он Лепукалну.

— . . . но в домашнем хозяйстве птица невредная. В теплых странах, говорят, существует птица пин-гвин . . . может и врут. Без воробья, я думаю нельзя . . .

И подвинулся ближе к соседу, заметая полою с паперти золотой на солнце сор.

— Душно там . . .

И ткнул палкой на церковь.

— Грешная, прости Господи, ихняя душа. Примета обязательно в народе, ежели скверный от тела дух. Не знаю, правильно ли . . .

Лепукалн молчал.

Вглядываясь в кресты на погосте, старик все беспокоился.

— Нынче я понимаю, как с одной спички Москва вспыхнула. Ее бы, холеру, подстрелить мало, а он еще поддерживает.

Лепукалн улыбнулся.

— Вы про кого?

— Про кого . . . Да про спичку эту, Вальку, прости Господи. Я давно говорил, что зараза. Надо было у нас начаться тогда с гостиницы. Вот нынче этот ухлопался, теперь того и гляди . . . Ты гляди за Фирсовым — то, будто он из лица желтоват. Нехорошо.

Лепукалн испугался.

— Да? Но, ведь, еще неизвестно. Может быть, Кли-  
мовича отравили . . .

Ютанов расправил бороду — собрал в горсть лыко  
— рассмеялся.

— Уж не Мотька ли . . . Посуди, какой им расчет? Ведь с какого боку ни копни, что же они сами на себя уголовщину стали бы наваливать? Ведь дело то у их. Нет брось глупить, кто-же знает, дело-жа ясно, все, как на блюдечке, в Вальке вся причина, из-за нее и парень решился. Верно.

— Да это то верно.

— А Мотька ни к чему, пустая процедура, кто жа не знает. Ребенку скажи, поймет, Господи . . .

Тут вынесли из церкви гроб — они встали.

За гробом, всю в слезах, Валентину Петровну вел под руку Фирсов.

И когда опустили гроб в могилу, она упала тут же в талую сырую землю.

Застучала спешно земля — зарывают у нас всегда быстро.

За погостом батарея дала залп.

Фирсов вздрогнул.

И Лепукали осторожно оглядел его, как рыба на живку.

Тут же подошел к Валентине агроном Петровский, чтобы помочь Фирсову поднять ее.

По дороге с погоста, Петровский рассуждал.

— Вот похоронили. Честь честью. А давно ли, Валентина Петровна, вместе пировали в Кочетке. Пили здоровье.

И когда Валентина Петровна ускоряла шаг, он стоялся поспеть за нею.

И говорил грубое, что не надо было говорить.

И казалось, будто он совсем не понимает людей, а только землю.

Забирая ладонью воздух, точно нажимая плуг в землю, показывал он на поля.

— Вот скоро пахать будем. А к чему это все. И жизнь то наша кабак и любовь то кабак. Много пишут нынче про новую политику, а нам это вовсе не зачем. Мы и по старой то прожить не сумели.

Валентина Петровна плакала.

А в полях работало солнце.

И никли снега, напаивая землю.

Земля готовилась.

После похорон, на четвертый день явился к следователю Фирсов.

— Я хочу дать вторичное показание относительно яда. Циан у него должен был быть. Тогда совсем забыл. Дело такое, что когда мы покидали румынский фронт, мы разделили, несколько офицеров, полковую аптеку . . .

Следователь внимательно взглянул на него, и Фирсов замешался.

— А зачем Вам был нужен циан?

— Это обяснить трудно . . . Просто психологически. Вы понимаете, ведь тогда мы полковое делили. А потом продавали румынам орудия, или лошадь, за пять целковых.

— А у Вас есть циан?

— Есть.

— При себе?

Фирсов сунул руку в карман и сейчас же выдернул.

— Нет . . . То есть да . . .

И опять сунул.

— . . . есть. Вот!

Следователь повертел в руках пакетик.

— Спасибо. Он вполне совпадает с тем. Впрочем — это даже лишнее формальное доказательство. Из допроса всех свидетелей нам совершенно ясно, что Климович должен был кончить с собой. Самоубийство в попыках, без записи . . .

— А Мотька?

— Завтра освободим. Если кто здесь и виноват, так вы.

— Я? . . . как я? . . .

И Фирсов опять замешался.

— Конечно — вы . . . косвенно, правда . . .

И следователь лукаво улыбнулся.

— . . . но как тут привлечь, тут мы бессильны. Это дело романистов.

Фирсов тоже вежливо улыбнулся.

И ответил.

— Это все равно.

— То есть что — все равно?

— Если-б и я . . . Зря человека не отравишь.

Следователь, плоский и толстенький, коричневатее клопа, отмахнулся и прыснул.

И смех был гаденький, что кровь у клопа.

— Шутник . . . Смотрите, смотрите. Так можно . . .

И он постучал себя по лбу, как в коробку.

Фирсов усмехнулся (но следователь этого не заметил, эту усмешку понимают только лошади) и вставая, резко царапнул по полу шпорой.

— Честь имею . . .

Вышел.

И, на улице вдруг расхочотавшись, побежал по дороге.

И псы лаяли на него из под ворот, гремя цепочками.  
На небе навалило гору весенних удивленных облаков.

## 17. После.

На шестой неделе поста, в субботу — когда у Локвы  
оживут темные, как кровь, вербы и разбегутся по этой  
упорной и легкой кожице серые и милые барабашки, и  
когда полные вороха наломанных верб продаются на  
площади — знаешь, что скоро подымутся поля зеле-  
ниями.

Сейчас уж земля зарыжела и кипит на солнце паром.  
В эти дни сердце — нежнее груши.

И петухи на дворах особенно яры и жестоки.

А курам надо спасаться — захлопают.

— Мне хочется побежать, побежать . . .

— Валя, Валя.

Сжимал ее за руку Фирсов, когда она начинала  
дрызгать по луже ногами.

— Петушок, петушок.

— Валя . . .

Они шли из Отдела — где записывают браки, рожде-  
ние и смерть.

И может быть потому Фирсов был скучен.

А ей хотелось поцеловать его здесь же на улице.

У женщин желания ясные и короткие — как у птиц.

И думать — они не хотят.

Валя говорила, что он возьмет отпуск — и поедут в  
Москву, к дяде, устраиваться.

Что в мае удобно пойти в церковь — для настоящей  
свадьбы.

А сегодня — будет все очень скромно.

— Хорошо . . .

Женщины не умеют молчать.

И береза шумит весной, белая — как невеста.

Так каждая женщина, пока кровь ее живет вместе с землей, просыпается по веснам невестой.

Тут мусор, что есть на зимнем льду — пусть унесет по наводку, молодою водой.

Мечтает так каждая.

В этом — ее короткое согодняшнее счастье и большой покой:

И если бы знать хоть на минуту по настоящему, как волк — самец постоянно думает об оврагах, дорогах, западнях и охотниках — можно было бы рассказать о Фирсове.

Дома, по старой привычке, Фирсов улегся на тахту.

То, что теперь кругом ходила женщина и меняла рубашки и полотенца не по надобности, а по порядку — раз в неделю, казалось смешным.

Будто заяц путает петли, чтобы уйти.

Может быть и женщина этим прячет что-то свое — немудрое, но хитрое, — как у воробья — чего она никогда не покажет.

А воробей — рыжая и вороватая птица.

Валентина Петровна убирает стол.

— Я еще позвала Петровского, Петелька . . .

— Зачем?

— Как зачем? . . . Я же его, хорошо знаю. Я же бывала у него в Кочетке . . . С Климовичем-то . . .

Валя загибает по пальцам и удивляется.

— . . . он же приезжал на похороны . . .

— Валя.

И выбритое, гладкое лицо Фирсова сдвигается как-то в сторону, точно сбитый с орудия замок.

В прошлом — горе женщины.

Редкая — забудет о нем и смолчит.

А может быть это — как цветы.

Свежие — только приятны.

А старые, иссохшие между страницами толстого романа в душистый порошок — энопея.

Как смолчишь? . . .

Фирсов ушел в спальню, прислонился к холодной блестящей спинке кровати.

— Да . . .

Это — в одном слове.

Так стоять можно долго.

И долго, и хорошо думать.

Но слов не будет.

Вечером громче и веселее всех говорил Петровский.

И как всегда грубо, будто ковырял землю.

Так было после десятой рюмки. —

— Лафа бабам, ей Богу. Сегодня она такая, завтра Фирсова, а после завтра сякай . . .

Тут он строил плута, подмигивая Петру Николаевичу.

— . . . сколько хошь фамилий. А какого нам-то почастным, веквеченский с одной маемся.

Валентина Петровна краснела.

В этот вечер старик Ютанов спрашивал всех в трактире Тряпкина:

— Слыхал новость-то . . . Полагаешь, что угомонились? А я-жа вот убей не верю. Не верю.

Старику было теперь скучно. Он искал предлога, чтобы кричать и греметь.

В мае провожали молодых с ландышами.

И на прощанье, даже комиссар Лепукалин так рас-

чувствовался, что заодно с дивизионными инструкторами, поцеловал руку у Валентины Петровны.

Этого с ним не бывало.

Все смеялись.

А он просил Фирсова.

— Не забудь из отпуска свеженьких книг привезти, слышишь? И то я поотстал...

И товарищи, глядя на радостное и большое, как у лошади, лицо Фирсова, думали про него:

— Хороший парень.

Через два дня после провод, приехал в город человек в ржавых, ржавее ржавчины, ботинках.

Он справлялся о Валентине Петровне.

Никто в городе его не знал. Но говорили, что это ее бывший жених (б. капитан Шебалин) вернулся из Кавказской Армии.

Он несколько раз ходил на кладбище, к могиле Климовича.

Но с него не спускали глаз — следили.

И квартальный Фопариков говорил.

— Эдак, значит, около могилы он потолчется, потолчется и уйдет, как заметит...

Вскоре Шебалин уехал.

А старик Ютанов ругался на перекрестке и бодал о землю палкой.

— Я-жа говорил зараза... Он еще себя укокает, погоди, ему бы место найти. Я жа из трактира видел, как он мимо шел, что по лицу у его мрак. Тут требуется крутая мера, а разве-ж они знают.

И он тыкал палкой в небеса.

А на небе ничего не было, кроме воды.

Весна эта — мокрая.

## 18. Москва, представитель АРА и молодая Россия д-ра Кипяткова.

Поздней весной 1922 года Москва цвела в жасминах.  
Их вороха лежали на троттуарах Петровки, Кузнецкого, Тверской.

И троттуары надушились свежо и пряно, точно молодые красивые женщины.

В лоск витрин и блеске белых блуз и юбок и в свисте весеннего острого ветра, упавшего как утомленный любовник у женских ног, вот и там у босых замаранных ножек, продающих жасмины и там — где чулок тонок и сер, как весенний внезапный снег, у той сухой и надуманной искусственным сапожником ножки — прелесть весны.

Прелесть весны и там, в лаке на крыльях пролеток, где вдребезги разбилось солнце, и кучер, глупая синяя тумба, кричит с облучка — с горы.

— Во-ат, племянница Крепыша-с, прокатим в-сс...

А его лошадь играет подкрашенными копытами.

И если дотронуться до ее сухой, блестящей спины, она вздрогнет, как женщина.

А у женщин на бульварах губы — нестерпимые и кукольные.

И на Петровке такие же губы.

И, подходя к губам, не знаешь — улыбнутся они или, облизав вас глазами, жестко кинут —

— Какое вы имеете право...

И, сморшившись, уйдут в голубой мех.

Сегодня этот город пьянее вина.

И его проклятое благополучие давит Фирсова.

Раскрашенные клапанами и жоркая шпорами по троттуару, мимо идут генштабисты.

И Фирсов смотрит на Валю и удивляется.

У нее чужая заводная походка и тоже—кукольные, заводные губы.

В витринах — архитектурные конструкции товаров.

Треск пролеток и трамвайный дробот, и трепет платьев, и сирены автомобилей, и парадные предприятия и тресты, и широкие и мрачные catacombs редакции «Правда», и изрытый оспою старик из голодной Самары, свалившийся в судороге на троттуар, и острые трель милиционера, и прыткие газетчики-мальчишки, и кармин на губах у женщин, будто рвут здесь женские губы, и рев автобуса у Страстного Монастыря, выстрел у кафе-Риваль, минут вора — и превосходнейшая дама, уронившая торт, — во всем этом волнение и дрожь центрального района города.

Вот иностранец, в пестрых гамашах, толкает под руку в пролетку затянутую в вязаный белый шелк, нетрезвую весеннюю даму.

Валентина Петровна прижимается к Фирсову.

— Петенька, я тоже, когда пьянонькая — счастливенькая . . .

— Нам, Петенька, это надо.

— Зачем? Что надо?

И она тянет его к магазинам.

— Валя, зачем? Нет, нельзя, денег нет.

Я не говорил о Москве.

Я говорю о центре.

В Замоскворечье сады с палисадами, пыль, и птицы, и звон церквей, и, в мезонинах, чистые буточки первой зелени, и, даже, плакат там «Водки и Вина Смирнова» благообразен как старик—церковный служка, несмотря на свое постоянное тихое пьянство.

А о центре нельзя сказать, разве что пьяному . . .

Все тут в камнях, в пыли, кармине. И камни пахнут жасмином. И, может быть, даже камни подмазаны.

И будто камням привита лихорадка.

А люди заразились от камня.

Бег толпы, треск искры трамвайной, и даже встреча-  
ная сигара . . . они останавливают.

И за сигарным дымом плачет голос.

— Подайте милостыньку, хушь пять тыщ . . .

И вывески жёлтые с черными полосами — «Амери-  
канская обувь Вэра».

— Петенька.

— Нет, нам это нельзя.

Город играет на счастье, хрустят карты, может быть хрустят и не карты . . .

Но легки и веселы экипажи, а за экипажем вдогонку задорные босые ноги с жасминами.

— Кули-ите.

У города, потому что здесь город, где не работают, а живут, — слов нет.

Здесь играет оркестр.

И отдельных событий нет.

А событие — инструмент в оркестре.

Здесь — оркестр событий.

— Но почему, Петечка, нельзя?

— Нельзя. Не надо.

И Фирсов маленький, меньше комара в лесу.

Женщине здесь надо держаться прямо.

Потому что, ведь, она не просто идет, а она — отра-  
жается в зеркальных витринах.

Об этом они помнят.

Довольно о городе, о воздухе, о панелях — как про-  
ститутки.

Теперь я понимаю, почему здесь любят жасмины.

И воздух прян — и пьяный, как проститутки в спальню, где на полу окурки и чужие сапоги.

— Петя, я совсем пьянькая... и крохотная.

— Ты — девчонка.

— И я всего, всего хочу...

— Перестань.

Фирсов сердито стиснул руку Вале.

Так он брал лошадей под уздечку.

— Когда я была подросточком, когда мамочка была жива и папочка, папочка из конторы придет пьянький, спит, а я знаешь, как воткнусь в роман, так до четырех, пяти ночи. Думает мамочка, будто я занимаюсь, среди ночки вдруг проснется, гляжу тащится с тарелкой... Валичка, говорит, милая, вот снеточеков покушай. А я ей фырк - фырк, фанаберии много... Уйдет мамочка, ничего не скажет. Шевелится. Гляжу, опять тащит — ну яичка, Валичка, с маслицем... а то устала, покупай... Из последнего, бывало, все мне.

— Господи, если бы теперь мамочку... и снеточеков. Какая я была скверная... мамочку не понимала.

— А теперь?

— Я и теперь, Петенька, скверная. И снетков я не хочу, а хочу я...

— Не надо...

Кончил Фирсов, и Валентина Петровна засмеялась.

Тут пришел человек, сказавший очень ломано, потому что он не хотел говорить правильно, потому что, если бы он сказал правильно, то он был бы не представитель Ара мистер Герберт Кист.

Очень хороший и очень плотный человек, он — в кафе Риваль сумел сказать Валентине Петровне, что он все может.

Сцена была такая.

Кафэ Риваль.

Два соседних столика.

За одним, уставленным салатниками и черной, как деготь, бутылкой английской мадеры — м-р Г. Кист.

М-р Г. Кист завтракает.

Не мешайте.

И лакей тут. И нет лакея.

Он здесь — но, ей-Богу, его совсем нет.

Вот, вот он подошел, он принес, он спросил, — но он тут же стер себя резиночкой, так чирк — чирк — чирк . . .

Вот вода.

Вот меняются бокалы.

И он уже наполнился, этот неизвестный бокал с шабли.

Сам наполнился.

Есть лакей и нет лакея.

Еще м-р Кист не вынул трубки. Но лакей знает, что в правом нижнем жилетном кармане, в замшевом футляре, уже готовая набитая трубка, и что сейчас короткие, волосатые пальцы, где на одном толстая, как пуд, платина, — вынут трубку.

И только дотронулся м-р Герберт Кист до футляра, как ему уж подают огонь.

И поднос сразу, точно механический, забирает посуду и остатки со стола — и летит, куда-то, с барышней, из рук в руки.

И новая крахмальная скатерть, хрустнув, сменит старую так, что вы даже не заметите — какая крышка у столика.

А на ней сразу вырастает ваза с виноградом и чашка

мокка с розовой и узкой, как дамский пальчик пахучей рюмочкой.

М-р Герберт Кист — не курит.

Нет. М-р Кист наполняет кафэ кольцами аромата.

И, сквозь кольца, на него внимательно смотрят несколько пар преданных собачьих глаз, готовых предупредить каждую минуту м-ра Киста.

Ему очень удобно, под удобным американским пиджаком, мягкая рубашка из хаки, слегка наплоенная и нестрый галстук.

За соседним столиком — Фирсов и Валя. Там уже обедают.

Обед подан небрежно, па двоих, из трех блюд — сразу шесть тарелок.

И, стараясь поймать ложкой по дну тарелки *первое* — суп, они заранее могут созерцать и наслаждаться *вторым и третьим*.

Тут точно, по меню, подсчитана стоимость обеда.

И точно до рубля, отложены заранее 10% лакею.

Здесь только одно не предугадано, как за эти 10% мигнет лакей левой бровью . . .

Только левой бровью . . .

Люди так обедающие — обыкновенно торопятся и молчат.

О, м-р Герберт Кист будет обедать совершенно иначе!

Обедать, конечно, он будет у консула, с цветами, с подбором вин, с дамами, с разговором.

А вечером — тут м-р Кист свертывает широкие губы, как салфетку и улыбается . . .

О, он еще не знает, что будет вечером . . .

И широкие губы, опять как салфетка, развертываются.

Те же, кто отчитали уже 10%, стучат.

Но разве можно стучать и торопиться, когда глядит на них сам м-р Герберт Кист.

Они опять стучат. Но лакей не слышит.

Лакей угадывает м-ра Киста.

И хоть у лакея нет лица, но он получит может быть сегодня, как лицо.

М-р Кист начинает говорить.

С чашечкой мокка очень приятно говорить.

Тише — он спрашивает, улыбаясь, Фирсова.

— Официр? . . .

И Фирсов говорит ему: — да . . .

Потому, что не может же молчать здесь Фирсов.

И м-р Кист.

— Плохо. Жена?

Тогда Фирсов думает, глядя на эти веселые, вкусно позавтракавшие губы и добрый довольный нос, — что в сущности это, наверно, очень славный парень.

И Фирсов, тоже улыбаясь, говорит.

— Да, плохо. Жена.

Здесь можно улыбнуться и Валентине Петровне.

Впрочем, она это делает без всяких разрешений.

М-р Кист нескладно, поднявшись и разбив при этом рюмку, чего он не заметил, так-как лакей в секунду подчистил все как резиной, — подходит к соседнему столику и протягивает в бок руку и сразу попадает к спинке стула, потому что стул сзади вежливо уже подхвачен самим метр-д-отелем, появившим движение м-ра Киста.

М-р Кист, кивая, говорит:

— Могу. Герберт Кист. Ара.

И, не дожидаясь, ответа, садится.

И говорит.

О, м-р Кист, представитель Ара, но может быть, он

и не представитель Ара (тут показывается немножко очень старое, 15 лет тому назад, когда Гирша Кистович помогал на варшавской бирже польским банкирам), Советская Россия прекрасная страна, но из денег прекраснее всего доллар, — с рублями, кронами, марками можно делать восторженные комбинации, это величайшее искусство . . .

Конечно, ни слова об этом он не говорит с Фирсовым.

Но это и не надо говорить.

М-р Кист мигнул — и на столе в салфетке коньяк.

М-р Кист только рассказывает о своем маршруте. Ведь завтра он уезжает из Москвы. 20.30 из Москвы, 11.20 следующего дня Петербург, через двое суток Штеттин, там Лондон, из Лондона — в Бостон, из Бостона за канадской кукурузой, оттуда в Нью-Йорк, и воздушный перелет на Москву.

Собственно, может быть, это мелькает совсем не м-р Кист, а фильма. Или нет, это — доллар, крепкий, как пирамида, на мировой бирже.

— О, русскому офицеру полезно знать заграница . . .

И за это с совершенно нескрываемой радостью, схватывается Фирсов. И Валентина Петровна только удивляется, когда Фирсов заявляет, что он здесь, в России покинет много тяжелого, что он хочет совершенно другое, совершенно новое, все равно где, хотя бы в прериин . . . что он с радостью бы бросил на границе тяжкий российский груз и заделался бы простым американским солдатом.

— Вы будете капитан . . .

И губы м-ра Киста завязываются вроде салфетки.

Фирсов растопыривает ладони.

Стучит ими по столу, точно копытами.

Прерия, вы это понимаете м-р Кист... Еще что. Змеи. Мустанги... Стадо... Совершенно дикое. Еще что.

Он ловит руками.

И в глазах у него крупные, как зерна, слезы.

— Как вы думаете, м-р Кист, надо человеку счастье?

М-р Кист, в дыме из трубы, в уверенном, синем облаке точно бог.

— О... человек требует много счастья.

И подливает Фирсову коньяк.

Фирсов пьет.

Огонь, дым, зеркала, и электричество в зеркалах, и коньяк.

Фирсову смешно и странно.

И горло жжет дым, будто с сухих болот.

— Где же... дайте мне смысл. Ну, хорошо, прерия, простой американский солдат, кампи, змеи. Все понятно. Но ведь прерий поди нет, и змей нет. У вас наверно в степях асфальт, а тут...

И он наклонился, может быть, страшно пьяный, может быть, совсем трезвый (лакей, что следил, не мог разобрать) — наклонился вплотную к щеке м-ра Киста.

— Эрсесфесер... Я честный. Я могу убивать, когда прикажут... да... вы понимаете. Я солдат. Я чай могу пить со свеклой и жрать селедку. А вы приходите с коньяком, вы в прерии фиши-шалманем мустангов напоите... Разве это честно? Я вас спрашиваю...

И он опять стукнул ладонями, как копытами.

М-р Кист бровью сказал лакею.

Но когда лакей хотел снять со стола бутылку, Фирсов протянул руку, как король из оперы.

И лакей отскочил.

— Не позволю.

Фирсов говорил, медленно наливая в стакан.

— Эресьесер . . . Понимаете? Ни черта. И я не понимаю. Может, никто не понимает . . . вот ужасно.

И он снова наклонился к м-ру Кисту, обдавая его теплом мягких больших губ.

— И не надо . . . Это нарочно, чтобы вы нам пожницами пальцы не отстригли, как купончики . . . Табачные карточки знаете? Тоже не знаете? Тоже нарочно. Эх, вы . . .

И Фирсов засмеялся. И когда смеялся, в уголках губ кучей, что молки, вились ядовитые слова.

Но он их не сказал.

— Не поймете, нет-с . . . У вас на асфальте, пшеница растет, а мы не боимся. Согнуть хотите, не поймать . . . Вот она степь, снега, волка не догоните . . .

И он оглянулся — кругом стояли лакеи, готовые по знаку м-ра Киста, его вывести.

Он опять оглянулся, как зверь взятый в облаву, и пошел, покорно перебирая большими сильными лапами, через сухой залом.

— Дай, Валя, руку. Не тревожьтесь м-р Кист. Я устал. Душонка у меня паршивая. Не выдерживает.

После этого, в 12 почт, назначается свиданье в ресторане Диана.

А на следующий день Валентина Петровна исчезла, прислав с посыльным записку.

«Уехала с Кистом. Петушок не сердись, больше писать некогда. Машина ждет.»

Фирсов не удивился.  
Он крепче сжал скулы. Они тверже коньего мосола.  
Ему казалось, что у американца он понюхал новый  
Запад.

И, сев в вагон, чтобы ехать обратно — заметил:  
Россия.

Т. е. — Россия для него.

Какая же для него Россия?

Зеленый вагон, внутри деревянный и желтый.

Но плацкарптий.

И крайнее отделение — на двоих.

— Это очень удобно, прямо замечательно . . .

Там на верхней полке вертится маленький блондин  
(лица он не успел заметить, но обыкновенное, без  
примет).

Это бормочет блондин.

При входе, он представился: — доктор Кипятков.

Устроив полку для спанья, Кипятков спрыгнул вниз  
и попросил:

— Разрешите? . . .

— Садитесь, садитесь.

Кипятков обтер платком потную шею.

Тут Фирсов заметил, что за воротничком кителя,  
доктор носит вместо прежнего военного галстука чер-  
ный бинт-крышку.

Поговорили о службе, о политике.

И доктор, потом спохватившись, спросил Фирсова.

— Вы не партийный?

В вагоне стали открывать окна.

Пошли сквозняки.

И каждая сторона другой приказывала закрыть окна  
(«Полагается только на одной стороне»).

Позвали проводника.

А когда проводник ничего не мог сделать — кричала баба.

— Им бы только удовольствие иметь. На-ка, выкуси, теперь пасажеру слобода, денежки плаченые . . . Им бы ишо дать, туточка не сквозняк, а фокус. На-ка . . . хапали. Мало вас стреляют.

Вытягнув кукиши — короткий и толстый, что пепок, она захлебнулась смехом.

И в вагоне запахло бабой — молодой и радостной, что еще не иссохла ребятами и работой:

Наконец, занявшись едой, все успокоились.

И поехали дальше со сквозняками.

Доктор, между бутербродами, рассказывал о Высшей Артиллерийской Школе, где он работал врачом.

— Придет, понимаете, парень — краском, говорю ему — вам надо в лазарет, по состоянию вашего здоровья. А он просит, уж нельзя ли, просит, как-нибудь так, доктор, а то я уроки пропущу. Понимаете — уроки пропущу. Беда, и это систематически. Вот какая необыкновенная жажда. С таким-то народом погодите еще... Или смотришь жара, не передохнуть? А он, сукин сын, верзила-верзилой лежит под кустом с книжкой и долбит себе, долбит... Да, ведь, дорогой мой, мы с вами эту муштру проходили с детства, длинная гимнастика, а ведь он глотает взрослым парнем. Эт-то-с молодая Россия.

Потом заговорили о себе.

И Фирсов сказал, что у него убежала жена.

Тогда доктор вздохнул и, смолчав, полез на верхнее.

## 19. Рапорт.

Очень длинный и тягучий, что резина, день.

Военспец П. Фирсов сидит дома, за шторами.

К шторам приходит солнце — вымазав их в розовое.  
Там же блекнет.  
И от них же уходит.  
Все это — закон свершенный.  
И никому не уйти от солнечного круга.  
Утром выпивается пиво.  
Днем тоже пиво.  
И вечером.  
Все.  
Это — тоже закон.

А мысли сгущаются в комнате, как угар. Чтобы тяжелее давить. Чтобы в ушах застучали барабанные перепонки.

Может быть за шторою ночь.

Или городок Л., где на всех пяти трактах одна и та же пугливая и сырая луна, а в городе афиша «Алор» еще желтее и еще сырее луны.

Он летает — угарный, преображеный.

Фирсову кажется, что сегодня он сойдет с ума.

Привычка все та же — лежа на тахте: курить, молчать, думать.

Эти мысли узки, длинны и нескончаемы, точно бинт.

Вот, обмотался весь.

И размотаться не можешь.

И перед фотографической карточкой — Валентины Петровны — только здесь, у туалетного столика, пропахшего женскими прихотями — вдруг застонешь.

Лучше было бы — встать на четвереньки и, сразу обросши шерстью, выскочить на дорогу. И воем отогреть — как жгутом — дорогу, поле, лес.

От воя сожмутся травы.

И лошади в табуне собьются кучей, навострив об-

щее табуны ухо, и будут слушать, замирая — пока не лопнет сильное конское сердце.

И в лесу притихнут ночные совы.

Одной луне не спрятаться с неба — вся она, как на блюдечке.

Ее можно слизнуть языком.

Пугливая, она закричит тучам.

Но ведь тучи пробегают мимо — как ветер.

У туч — свое дело. Не останавливаются.

И еще громче закричит луна, и забывается в истерике, обливаясь сырым голубеющим потом.

Ужас — это седой зверь, страшный, как землетрясение, потому что он рвет в клочья, и жрет, и топит.

Фирсов встал с тахты.

И поднял оконную штору.

Та взвилась с шорохами — точно театральный занавес.

Первое — это тени и тьма.

А над ними — над этой, в тьме, землей — обычная ее покрышка.

Зовут небом.

И там живут боги.

Фирсов засмеялся.

И кричал в теплое летнее стекло.

— Стерва. Стерва. Я то герой, я, может, еще понадоблюсь...

Если эту покрышку дернуть каблуком, она хрустнет нежнее хрустального блюдца и обрушится с треском, открыв пустоту.

И, даже, негде будет руками пошарить.

Люди неизвестны, как камни.

И тот, кто не может ночами спать, пугается ночи.

Нетому, что приходит к нему его душа, но такая же  
темная и непостижимая и бессловесная.

Но разве уйдешь от себя?

Разве себя прогонишь?

— Я имел право.

Так провел Фирсов три ночи, после обратного приезда в Л.

Днем он ходил на огорода бабки Лепатихи—к Мотьке.  
Девки опять копорили.

Земля лежала там весело, аккуратно — собранная  
в гряды.

Ругались над огородом, точно старые мужики, грачи.

Фирсов, на краю огорода, у колодца, долго о чем то  
расспрашивал Мотьку.

И она — это видела бабка Лепатиха — несколько  
раз утиралась стыдливо локтем.

О чем говорил — неизвестно.

А на четвертую ночь Фирсов сел и написал рапорт.  
И по ночному голому двору дивизиона прошел к  
флигелю комиссара Лепукальна.

Деревянная лестница скрипела под ногами визгли-  
вее пилы.

Сверху, от двери, молча поднялась косматая диви-  
зионая Ара.

— Это я, Ара ... это я ...

Ара зевнула, щелкнув ртом.

И, собрав хвост, устало посмотрела на Фирсова.

Фирсов вошел.

За столом, уронив голову на спинку жесткого старо-  
модного кресла, всхрапывал Лепукальн.

На столе валялась початая сотня папироc и коробка  
с мелкими, обсыпанными сахаром, бомбочками.

Газета же лежала у него на животе, вместо одеяла.

— Умаялся.

Подумал Фирсов.

И даже не захотел сперва будить.

Но Лепукали спал и тяжело и неудобно.

Так спят в садке рыбы — большие, измученные теснотой.

И Фирсов крикнул.

— Товарищ Лепукали.

Лепукали вздрогнул, уронив с живота газету.

И, увидав Фирсова, недовольно спросил.

— Вы зачем?

Но сейчас же вспомнив, что у того убежала Валентина Петровна, и, испугавшись, как бы он чего не выкинул, участливо усадил.

— Все, дорогой мой, пустяки. Оставайтесь у меня почевать. Не ходите домой... Все бабы — еволочь. И любви нет. Просто физиологический акт, честное слово. Ну их...

— Нет...

— Вот, вот... конечно нет...

— Нет, я говорю, что я по делу. Вы простите, час неурочиный, а я по делу.

— Да, да я слушаю...

— Я не мог дождаться утра. Вот рапорт.

Комиссар прочел:

Военкому 3 Артдивизиона.

Ком. батар. 3

П. Фирсова.

Рапорт.

Сим доношу, что это я отравил тов. Ф. Климовича, обманным путем передав ему яд. Я имел право.

Заявляя об этом я не надеюсь ни на какое наказание, п. ч. вся строгость законов Республики, вплоть до расстрела, меня не касается.

Прошу провести это приказом.

II. Фирсов.

28 Июня 1922 г.

Лепукалин бросил бумажку.

И, обняв за плечи Фирсова, с опасением взглянул ему в глаза.

— Ай-яй-яй. Ну, ну, ничего, ложитесь. Я вас не отпущу.

Фирсов повиновался.

Эту ночь с комиссаром Лепукалином он спал совсем спокойно.

А утром даже смеялся, когда комиссар спрашивал — лучше ли ему...

Но вечером опять пришел и подал новый рапорт.

Военкому 3 Артдивизиона  
т. Лепукалину.  
Ком. батар. 3  
П. Фирсова.

Рапорт.

Сим подтверждаю сказанное мною в рапорте от 23 с. июня и настаиваю на приказе. В противном случае доложу по команде.

П. Фирсов.

Через день Фирсова арестовали.

Он потребовал следователя. И проговорил с ним несколько часов.

## 20. К делу П. Фирсова.

Подшито к синей папке следующее:

Пакет П. Фирсова.

Рапорт (зачеркнуто).

Мои записки (зачеркнуто).

И сверху жирно:

*Послать по радио всем интернационалистам от поруч. Фирсова.*

(«Поручика» зачеркнуто и сверху вставлено — «артиллериста».)

### Текст:

Я не философ, и на жизнь смотрю очень просто. А бедность моей мысли и моей фантазии подчас самого меня приводит в невыразимое отчаяние. Я чувствую здесь, в тюрьме, как в голове моей заскреблись мысли, точно мыши, но ни одну из них я не могу поймать; чуть тронешь — а уж они все разбегаются. Уверен, что, попади этот листок наблюдающим за мной доктору и следователю, они сейчас сморщат брови и эту мою метафору примут, как физическое ощущение моего, якобы «больного» мозга. Вот вам еще одно лишнее доказательство относительно чистоты работы нашей психиатрии; простите, я пишу это не для жалобы, т. к. жалоба моей, конечно, можно не верить, а так из глупости, т. е. я хочу убедить вас в том, в чем не только я убежден, — это подавно, — а в том, что я сделал вот этими своими, фирсовскими руками, именно — преступление совершил я.

## Кто же я?

Я — живой организм, научившийся ходить, есть, убивать, вступать в сношения с женщинами. Я — мешок, наполненный костями, мускулами и жилами, приспособившийся к условиям той природы и того быта, которые его окружали. Но напрасно было бы думать, что этот организм в функциях своих почти ограниченный физиологией, не испытывает никакой тяги, не ищет вылета из своего мешка. Правда, эти попытки редко кончаются удачно, но ведь и Икар спленился в море вместо того, чтобы попасть на солнце, — отчего же и поручику Фирсову не посидеть в луже? Вам известно, что меня связывала с Климовичем долгая и тесная дружба. Эти годы школы, университета, войны, — пролетели, как дым, и жить бок - о - бок друг с другом стало для нас не только привычкой, но необходимостью, часто нас тяготившую, как тяготит двух рабов галера, к которой они прикованы и когда один опускает правое весло в воду, другой обязательно подымает из воды левое. Рабы не смотрят друг на друга, молчат, но раскуйте их и выпустите из галеры на землю, они упадут друг другу в об'ятия, или убьют друг друга. Это я понял только здесь, в тюрьме. Что касается нас, то нечто похожее соединяло меня с Климовичем, мы даже стали меньше разговаривать друг с другом, больше молчать, но это не избавляло нас от соседства, мы понимали друг друга по жестам. Однажды вечером, Климович проговорился мне о любви, но, с тех пор, как - то замолк, часто виделся с ней, но со мной об этом не разговаривал, и отсюда разыгралась во мне ревность матери, очень скромной правда, очень сухой, матери - мужчины, если можно так выразиться. Это было очень ненормально и желчно и, еще хуже, то, что

и одним словом я не мог об этом с ним перемолвиться, т. к. мне первому стало бы стыдно. Мне пришлось при-мириться с мыслью, что для Климовича опять наступил этот период угара и приключений с женщиной, но тут я стал бояться, что теперь то он от меня уйдет, что здесь будет кончена его длинная победная эпопея, кото-рой втайне я частенько завидовал. Я — человек боль-шой и здоровый, как зверь, был очень первобытен с женщинами, и не мог понять о чем Климович с ними делился часами, и почему они к нему лезли, как мыши в патентованную английскую мышеловку. Валентину же Петровну я представлял себе вполне ясно, как девушку, которую война и революция забросила за борт, испорченную и глупую. Т. е. как все, и, пожалуй, как всегда. Только 20 лет тому назад они боялись абортов и на горе родителей рожали, нынче же все обстоит ор-ганизованнее. Эти мои предположения вполне подтвер-дились при первом же с цею свидании; но вот, отдав-шись мне, она стала яясне мне и с других сторон. Я уже не просто осудил, я пригляделся, быть может здесь сказалаась моя зрелость, быть может то, что мне льстила эта не ловкая и не совсем удобная победа над предпола-гаемой любовницей моего приятеля и, может быть, кандидаткой в жены ему. Что здесь было — злость ли, мужское щегольство, или случай от скуки, я до сих пор понять не могу. Она была ласкова — эта то ласка ее и сгубила. Правда, она не была девушкой, но в наше время девическая невинность простая случайность, и вот, влюбленная в него, и как-то глупо и неожиданно отдавшись мне, она сразу раскололась. Но для жен-щины, для ее немудрой простой жизни, всегда ближе, все-таки, тот, с кем она физически связана. Эта связь может быть цепью и цепью тяжелой, даже и потому

освободиться от нее не так то легко. О нашей связи я ничего Климовичу не говорил, она также, и вообще этот первый фазис был очень странный. Тогда я совсем не дорожил Валентиной и каждую минуту мог совсем от нее отказаться, и то, что мы совместно гуляли и по очереди бывали у нее, ничуть меня не смущало. А она волновалась — это я чувствовал смутно, но это мне нравилось. мне льстило, и в ней я очень это ценил. Здесь она была права, а мы мерзавцы, мы мучили ее. И только со стороны могло казаться, что она играет с нами. Тут я узнал, что Климович — импотент. Она рассказала мне об одной поездке, когда он не смог овладеть ею, а эти непрекращающиеся, все-таки, визиты, но без близости, бывшей до селе в привычке у Климовича, меня убедили в этом. Тут стал волноваться и я, но — как проверить? — говорить с ним об этом было нельзя, он сейчас же бы взъерился. Правда, он был гол и наг, у него все было прохожто, но он не хотел в этом сознаться и падал между нами, как тяжелое бревно. Вспомните хотя бы эту отвратительную сцену на балу в Тряпкинском трактире, все считают виновной Валентину, когда виноват был он. Он не смог ей дать ничего, но был на зойлив и требователен, как комар. А она боялась, что, оттолкнув его решительно и грубо, она, тем самым, толкнет его в землю, к тому же, это неожиданное в городишке самоубийство всех перепугало. После этой отвратительной сцены я решил: он жить не должен...

Позволить себе убийство. Далось мне это очень легко, я не думал об этом, все шло по прежнему — служба в дивизионе и сон, Климович изводился; тут я открыто стал над ним подсмеиваться и, наконец,

довел его до игры в эту упрощенную до минимума кукушку: Конечно, когда вертели мы с ним, точно пьяные, револьверный барабан, я рисковал не меньше, чем он. Вот тогда, может быть, я действительно сошел с ума, я помню — я пытался прекратить, я опомнился, но он настаивал, и барабан опять завертелся. Это упорство его, настойчивость в том, чтобы я совместно мучился с ним около Валентины, ожесточила меня, может быть тут же я бы прихлопнул его, не знаю как, у меня завертелась голова, как снаряд при полете, и, слава Богу, арест охладил мой ныл. Там я и придумал.

Расчет был правильен.

Атмосфера в городке была напряженная. И теперь при каких бы обстоятельствах Климович ни покончил, всем было бы очевидно, что это самоубийство. Утром того же дня, когда нас освободили, я дома передал ему порошок, сказав, что это то и есть мое замечательное возбуждающее средство, а он, представьте, взял... Вот доказательство, вы конечно не верите... Но он взял, потому что он импотент. Он от меня взял порошок. Это я решил. И я даже забыл, совсем забыл об этом. И вот, когда вспомнил, отлично помню, что это он взял... Больше никому было взять... Это же совершенно очевидно. Не я же ведь отравился. Впрочем, простите, тут я спутался с логикой. Но это не важно, интересен лишь факт. Но это был циан еще с румынского фронта, из полковой аптечки. Было у меня только одно спасение, что мне придется долго дожидаться. Но я решил не форсировать событий, не торопиться. Так или иначе, порошок был бы принят, характер Климовича и страсть его к связям были мною учтены правильно. Безопасность моя совер-

шенно обеспечена. Я решил ждать. Судьба было угодно, чтобы это случилось следующей же ночью, когда после этого дурацкого розыгрыша, он полетел на города к Лепатихе.

Остальное вы знаете.

Я не жалел о случившемся, не испытывал никаких угрызений, правда, в первое время, когда холостые привычки пришлось заменять семейными, многое показалось мне чуждым и непривычным, и стумалось, что из за этого не стоило огород городить, но знаете — домом обрастаешь также незаметно, как бородой, и, если долго не бриться и не смотреть в зеркало, то привыкнешь и к бороде. А я устал от геройства и теперь у меня все-таки чувствовалась какая-то твердость, какой-то свой угол, а вот именно-то поэтому, по этим шеленкам и старым пузырькам, мы — походные люди (с чемоданом подмышкой) и изголодались. Ах, если бы не было поездки в Москву...

Я не виню Валю. Ласковее, женственнее, прямее я не встречал ни одной женщины. Она была резка и вульгарна, но это знак времени и нечего тут взыскивать строго, а сами-то мы кто. Если бы она знала, что сделал я... Ведь я, обнимая ее после, и не застумался над этим. Смерть Климовича, вернее убийство, — для меня было будто насморком. Я даже не спросил Валю об этом. У нас был брак — т. е. совместная жизнь в одной спальне и совокупление. Она дала мне уют, т. е. то, чего у меня не было, и что создала она. А я ничего. Я был только мужчина, каким мог быть один, другой, третий, пятый. Да еще добывший ее таким путем. Интересно, что сделала бы она, если бы узнала об этом в то время. Она была жадна, и этот городской бред опьянил ее, она, несчастная, побежала

за ним. Я не мог угадать, что с ней будет; может быть, она иссохнет и сойдет с ума на десятом, двадцатом аборте, а, может быть, сделается берлинской проституткой.

И в том, и в другом случае, ее бы следовало пожалеть и спасти.

Но когда ушла она, ведь с нею вместе исчезла и моя цель. Тут же я понял, что весь этот ужас мог пройти даже тогда, если она не ушла бы, но это гадательно и об этом не стоит говорить. Я растерялся, я не мог сообразить, что мне сейчас делать, и я мучительно и бесполково думал, в эти минуты я ненавидел Валю, это она принесла мне этот крест, нынче я простила ее. Тогда я решил открыться властям. Здесь меня осенило. Моментально осенило, что я прав. Я имею право, я семь лет герой.

И вот нынче я сумасшедший.

Я знаю, не убеги от меня Валя, может быть, на все дело взглянули бы иначе, но я перехитрил самого себя: как тогда было вполне понятно каждому и закономерно «самоубийство» Климовича, то и сейчас также после бегства Вали, каждому сделалось очевидно мое «сумасшествие». Эх, если бы это было годиком пораньше и на фронте, тогда со мной не стали бы так рассуждать, как в Л... Словом, у меня не было ни одного доказательства, а после всего пережитого, после этой борьбы за Валю и «самоубийства моего лучшего друга» — так естественно было для всех, — что, с ее уходом, моя «бедная голова» — так говорили они, обратилась к воспоминаниям о смерти друга, с которым я по выражению следователя «соперничал», и в «самоубийстве» которого, по его убеждению, я повинен: отсюда, до

возникновения представления, что именно я отравил его, только шаг. Так я создал, по их мнению, легенду. И, право, я уж сам стал сомневаться, как тот старый кот у Леонида Андреева, которого всю жизнь били, а потом приласкали, и он обалдел от неожиданности. И с той поры, хоть его и бьют, а он мурлычет.

Ко мне ходят и следователи, и доктора, но большей тупости, чем у них, я ни у кого не видел. Только теперь, здесь, в тюрьме, где вся глупость, весь вздор осели во мне, я чувствую — что я спокоен и силен. И буду терпелив, чтобы дождаться конца. Расстрел мне совсем не страшен. Я уже прожил это. Вчера меня расстреливали. Дело было так. Ко мне подошел взвод, при взводе были 2 сотрудника особого отдела, когда взвод построили, я попросил сотрудников: «Нельзя ли без церемониала». Они мне сказали, что нет, нельзя, надо все по порядку. Я согласился. Тогда они приказали мне снимать вещи. Я закурил папироску и стал расшнуровывать ботинки. Скинул один ботинок. Смотрю сзади, за спиной, стоит сотрудник. Начал расшнуровывать второй, потухла папироска, только что стал ее раскуривать, вдруг в ухо хлопнул залп. Это в шею мне выстрелил сотрудник... И оказывается, что это совсем не смерть. Но вот чего я не понимаю — почему я опять жив. А я жив потому что могу думать, и мысль клянется прекрасно. Когда об этом слу- чае я рассказал в нашей тюремной конторе, мне, конечно, никто не поверил, и все надо мной смеялись, и, даже, позвали доктора. Но у меня было очень скверное настроение и доктора я прогнал. тут же приехал следователь, когда я ему рассказал, он только улыбнулся и сказал — «Ну теперь с вами нечего возиться, дело ясное»... Я начал возражать — «Какое же ясное

когда...» Но он перебил меня «Ясно, ясно» и ушел в соседнюю комнату. Но, Боже мой, я никогда еще так точно и отчетливо не думал, я хочу найти из'ян и нигде его нет. У меня спрашивали доказательства. Я их ищу и я найду, я знаю, что я их найду. Если их не удовлетворяют слова, я им математически докажу, что я прав. Ведь, кругом идиоты. Эти идиоты скверно говорят про Валю, но при чем тут Валя... Я люблю Валю, это верно, но я спокоен, я могу беспоковаться, что нет ее я плакать могу, здесь они правы... Но я спокоен, я божественно спокоен. Я застыл, я скоро стану гордым памятником на огромной Красной Московской площади, я чувствую, как у меня течет вместо крови бронза. В руку воткнут мне маленький красный флаг, а на мраморном пьедестале напишут — б. поручику Фирсову 1914—1922. Правда, это будет очень красиво. Это будет очередная глупость. Я знаю Москву — там, около моего памятника, встанут в ряд лакеи и будут радоваться. Ничего нет, уверяю вас, ничего, только электрический цирк. И цирка тоже нет — обман. Скоро все обнаружится, очень скоро. Когда вспомню, мне делается страшно весело. Ведь никто не знает, что мы летим. А мы летим. Я пытался убеждать следователя, но он говорил все одно «ясно, да ясно». Оказывается, есть еще другое, о чем никто не знает... Я случайно об этом узнал, вчера меня навещала Ара, какая необычная, какая милая собака! Вы знаете, что она мне сказала? Сперва она приласкалась, положила морду на колени, а потом сказала очень грустно: — «Ты, Фирсов, не бойся, они ищут твои табачные карточки. Не найдут, не бойся...» Да, я забыл сказать о Вале, они правы, они правы, это совершенно верно, но я все-таки божественно спокоен, потому что Валя

здесь ни при чем. Она просто пришла ко мне и также просто ушла. Это мне ясно. Не знаю ясно ли им — так самки ходят к самцам, когда начинается течка. Мне стало смешно. Ко мне приходит Ара, а к Серафиму Саровскому медведь ходил. Может быть, я даже мученик, а никто этого не понимает. Тут необычайнейший смысл. Ведь собака зря не придет. Ведь не придет же зря собака. Это же очевидно. Это же как дважды два. Впрочем, что такое дважды два? Я им скажу, а они потребуют доказательств. Я очень много плачу, я даже устал, нигде не могу найти. Надо будет попросить Ару, у собак острый нюх. У меня большой план: Ара будет искать формальные доказательства, а я разрешу эту задачу математическим путем. Я наконец захвачу батарею. Я докажу силой орудия. Эй, а-го-го! всей батареей... Первая. В хвост бей....

.....

.....

Дальше из тетради была вырвана  
десь — записки продолжались так:  
..... смерти, конечно, нет. Они меня боятся, потому  
что я точен и не понимаю их преступления. Теория  
моя, конечно, сильна. Я прав. Я не убивал. Т. е. я,  
может быть, и убил. Но в чем дело, господа, я привык.  
Да разве я не имею права убить крысу, попавшуюся в  
западню? Я знаю, что крыса вылезет из западни. Часа  
три будет фырчать, охать, вздыхать и все упорно, со  
стонами, с мукою, чтобы потом, все равно, подохнуть.  
Вот, прихожу я и топором перерубаю крысу пополам.  
Я страшно силен. Я чувствую, как у меня в желудке  
растут камни. Они этого боятся. Но теория моя сильна,  
и даже расстрел им не удался. Глупцы, вчера опять

смеялся следователь, когда я сказал, что пришел к ним затем, чтобы доказать, что имею право, что все данные на то есть... Но они не хотят, они мне говорят вздор. Они хотят психологии, но я сам ничего не понимаю. Я просто ощущал, что надо... И рассказал, чтобы видели, но как я им могу об'яснить, когда я солдат. Я жил дураком до 28 лет. Я сам не подозревал. И вот, теперь угадываю, что у меня есть дефект... логический дефект. Когда я его поймаю, они поймут. Но этот дефект бежит от меня, как от собаки хвост. Я даже думаю, что у собак хвосты не зря, и сегодня просил Лепукальна отрубить у Ары хвост. Там мы найдем. Это, кажется, называется животным магнетизмом. Если бы меня подольше учили... а то я хватаюсь за клочки. Впрочем, важна сущность. Скоро разъяснение придет. Но вот, когда наступил дефект. Удивительно и прекрасно я себя чувствую — ум мой это, конечно, механизм. Это даже жалко, что вставили его мне здесь. И только теперь понял, в этих решетках, — какая огромнейшая свобода родилась, богов конечно нет. Бога я позабыл, но теперь уж я знаю, что ничего нет... Сегодня было представление, в тюрьме был лектор на тему «Царский тюремный режим и наши исправдомы». Я страшно смеялся, и меня силою увёли. Мы имеем право, имеем право. Я семь лет имел право, никто не спрашивал. Дайте пожалуйста мандат, я вам докажу, что вы не смеете жить по прежнему. У всех нас огромнейшее право свободы. Ведь у истории новый ход, и уж Америка хочет отколоться, она хочет идти по своему: Англия уже откололась и летает самостоительной планетой. Россиистыдно ждать... Мы должны лететь самостоительно. Они только смеются и говорят: — «ясно, ясно...» Дураки.

## 21. Полет.

За день до от'езда в камеру пришел доктор Фаворский.

Пальто у доктора длинное, мокнатое, похожее на рясу.

Пришел, и палочку - посох прислонил к стенке.

— Навестить послали ... как живете.

Фирсов лениво поднялся с койки, лицо у него было затрапанное, слежавшееся, и отросшие волосы ползли клочками.

Фирсов был недоволен.

— Навестить? Кому это надо?

— Люди послали.

— Люди?

И Фирсов усмехнулся про себя, как всегда — не слышно, точно лошадь.

— Какие же люди? Я, что-то, не замечал.

— Знакомые.

— И знакомых нет. Разве еще есть люди ... Доктор ...

Фирсов упал на колени.

— ... вот вы смотрите на меня и думаете, не притворяйтесь, думаете, что я сошел с ума, ведь думаете? А я совсем ясный, как вода. И никто не хочет поверить, и не поверят, я знаю. И вы не верите, не притворяйтесь, я вижу, что не верите. Вот что ужасно. Никто никому не верит. Потеряли веру ... вот вся эта сволочь в городе, лавочки да маменьки, я им не удивляюсь, а вы — интеллигентный человек ... Впрочем, о чём я с вами... Доказательство то я совсем потерял, нету знаете, совсем в мире доказательства нету... Прими на веру ... и никаких ... а чтобы, как дважды

два — нету, да и дважды два нету. Придет вдруг математик, ну в Нидерландах допустим, и скажет — дважды два семь... И докажет, а вы не поверите. А когда придет другой, примерно лет через сто из Испании, и докажет, что дважды два семь... Вот земля то может быть не так вертится, не по той линии... Совсем, представьте, не по той... И не шар уж теперь, а яйцо... Врут, совсем не яйцо... это нынче наукой доказано... и женщины врут, женщины постоянно врут. А верить надо. Надо, доктор, верить. Вы прожитой человек, вы конченный человек, вы веры не имеете...

Шептал Фирсов в бороду доктора.

— ... вы очень скоро застрелитесь, ведь это очень важно, доктор...

Фирсов взволновался и что-то показывал доктору на пальцах.

— ... ведь, пока мы так разговариваем, там...

Он махнул рукой в пространство.

— ... там уже доказали, что дважды два — пять. Слышите?

Доктор сдунул пыль с бороды (день был пыльный, летний) и сказал неторопливо.

— Дважды два равно четыре.

— Ах, четыре... четыре...

Захлебываясь от радости, Фирсов увлекался.

— Надо доказать, будьте добры доказать.

— Два раза по два.

— Ну и значит — четыре. А вдруг ошибка. Вот жизнь прожили — оказалось вдруг ошибка, вы не сознаетесь. Нет, вы, конечно, не сознаетесь, вы нарочно не сознаетесь. Женщину полюбил — а она вдруг проституткой станет, и вы не сознаетесь. Вы ведь, дор-

гой мой, вы только одно поймите, вы разве не слышали... Как же, как же, об этом в немецких газетах писали. Замечательное открытие, у нас в степи еще никто не знает, замечательное... Мы все летим — туда...

Фирсов выкинул рукой вверх.

И не шептал, а дул доктору в ухо.

— Астрономическое явление. ... Планета земля с пути сбилась и летит прямо неизвестно куда. Что? И Доброхотов уже там. Он уже прилетел...

— Куда?

Спросил неторопливо доктор.

— Направление неизвестно...

Фирсов очень взъярился. Дернул плечами.

— Направление неизвестно, но у меня есть чертежи. Оказывается линия полета земли совпадает с линией полета снаряда... вот вылетели мы давно, очень уже давно из точки А... со скоростью... Я все это теперь сообразил, я молчал, сколько лет молчу, и все в городе давно молчат, — а мы уже летели... если принять за скорость силу равную...

Тут Фирсов обяснял очень долго.

И при этом беспрестанно лазил в карманы, будто вытаскивая оттуда скорости, тяготения, системы тел...

А, когда кончил, упал на койку.

— ... но точки Б не найти, не найти. И Доброхотов притворяется, он еще не там, он ошибся — это не точка Б, а промежуточная задержка, основанная на притяжении луной, напрасно верят его радио... Мы летим, чорт знает куда... Вы, разве, не слышите? Вечный шум. Вы думаете — ветер, ветреный год, нет, это шум от полета... Летим.

## 22. Дождь.

Через полторы недели Фирсова отправляли в губернский город, в психиатрическую больницу.

День был мокрый, и дороги раскинули в тесто.

Дома поджались, как собаки, чтобы не замочить хвост.

Когда Фирсова усаживали в тележку, проводить его пришел только один старик Ютанов.

Сегодня он не кричал, но, поцеловавшись с Фирсовым, все-таки, не утерпел, чтобы не попрекнуть.

— Я — жа давно говорил, что она вибриен, видишь. Ее бы давно убить надо.

А на сердце у Фирсова печально.

Дороги мокрые.

А были дороги по июлю сухие и пыльные.

Печаль же нужна сердцу, как роса траве на пыльной дороге.

Фирсов улыбнулся.

— Нет, дедушка.

Старик рассердился.

— Нет, нет... Вам юбченка требуется, я знаю.

Возок тронулся, и Фирсов сказал Артюшке.

— Ты, смотри, с дороги не сбейся...

А дивизионный конюх, гикнул лошадям.

— Эх, се-волачи... Будьте благонадежны.

Квартальный Фонариков, зашлепанный по пояс грязью, возвращался с погоста Ионы на Буграх.

Там сегодня хоронили одну из девушкин.

Подруги шептали, что погубила ее акуперка Зайченко, но говорить громко боялись.

Все девушки еще были на кладбище.

И сердце у каждой — как кошка.

То есть: и нежится, и тоскует.

Встретившись с возком, квартальный Фонариков спросил Артюшку.

— Повезли?

Но Артюшка, не отвечая, дернул плечом, что вёрстой, и выругал лошадей:

За шлагбаумом Фирсов вдруг забеспокоился.

— Пакет забыл с карточками... вдруг потребуют.

Артюшка остановился.

— С каким карточкам?

— С табачными...

— С табачным...

Артюшка подумал, потом вытащил кнут из голенища...

— Не обязательно. И — зах.

И хлестнул по сырым лошадям.

Лошади взяли возок дружно.

В степи дождем примяло к земле рожь.

Скоро мокрая спина Фирсова скрылась в дожде.

### 23. Последняя.

Эту повесть, и письма, и документы — хотел я скрыть.

Но их правда сурова, смешна и печальна.

Я не знаю тишины столетних фисгармоний и торжественных нужных псалмов.

Я — русский...

Вою, как волк, и жду сугробов.

Снег будет. —



## ОГЛАВЛЕНИЕ:

---

1. Я люблю Валентину . . . . .	7
2. Началось . . . . .	11
3. Ночью . . . . .	17
4. Совхоз «Кривой Кочеток» . . . . .	21
5. Плисовый рай . . . . .	25
6. Квартальный Фонариков . . . . .	30
7. А. В. Доброхотов . . . . .	33
8. Документы А. В. Доброхотова . . . . .	38
9. Трактир купца Тряпкина . . . . .	46
10. На иголках . . . . .	53
11. Ночное . . . . .	56
12. Иней . . . . .	59
13. Игра . . . . .	60
14. Розыгрыши . . . . .	66
15. Мотыка . . . . .	70
16. Алый гроб . . . . .	74
17. После . . . . .	79
18. Москва, представитель АРА и молодая Россия д-ра Кипяткова . . . . .	83
19. Рапорт . . . . .	94
20. К делу П. Фирсова . . . . .	100
21. Полет . . . . .	111
22. Дождь . . . . .	114
23. Последняя . . . . .	115

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“  
Berlin - Charlottenburg, Schlüterstr. 37

С Т И Х И

АННА АХМАТОВА

Четки . . .	совместно с издат. Алконост	1.50
Белая Стая . . .		
Anno Domini . . .		

Н. ГУМИЛЕВ

Колчан . . . . .	1.—
Огненный Столп . . . . .	1.—
Французские Народные Песни . . . .	1.—
К синей звезде . . . . .	1.—

М. КУЗМИН

Сети . . . . .	2.—
Глиняные Голубки . . . . .	2.—
Параболы . . . . .	1.50

О. МАНДЕЛЬШТАМ

Tristia . . . . .	1.—
-------------------	-----

АННА РАДЛОВА

Богородицын Корабль, ивеса . . . . .	1.—
--------------------------------------	-----

П Р О З А

М. КУЗМИН

Плавающие Путешествующие, роман	2.50
Крылья, повесть . . . . .	1.50

Н. НИКИТИН

Ночной пожар, рассказы . . . . .	1.50
Полет, повесть . . . . .	1.50

«ЗАВТРА»

Литературно-критический сборник при участии А. Ахматовой, М. Куз- мина, М. Лозинского, Н. Никити- на и др. . . . .	1.—
---	-----

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“  
Berlin-Charlottenburg, Schlueterstr. 37

КАРЛО ГОЦЦИ

Бесполезные Воспоминания. Перевод с итальянского Д. Я. Блох при участии М. А. Кузмина и М. Л. Лозинского, 2 тома (в печати) . . .

ТЕАТР

В. Н. ВСЕВОЛОДСКИЙ-ГЕРНГРОС  
И. А. Дмитревской, Берлин 1923 . . . . . 3.—

Ю. ПАТУЙЕ  
Мольер в России . . . . . 1.50

ТИРСО ДЕ МОЛИНА

«Дон Хиль Зеленые Штаны». Пер. В. Пяста. Редакция Б. А. Кржевского и М. Л. Лозинского. Берлин 1923 . . . . . 3.—

НИККОЛО МАККИАВЕЛИ

«Мандрагора». Перевод В. Н. Ракинта. Стихи в пер. Р. Н. Блох. Рисунки Льва Зака (в печати) . . . . .

ОСКАР УАЙЛЬД

«Вера». Пер. С. И. Гриинберга (в печати) . . . . .

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

ЮРИЙ АННЕНКОВ

Портреты. Текст Евг. Замятиной, М. Кузмина и М. Бабенчикова . . . . . 31.50

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“  
Berlin-Charlottenburg, Schlueterstr. 37

НАТАН АЛЬТМАН

Еврейская Графика. Текст Мак-  
са Осборна (на русск. и не-  
мецк. яз.) 250 нумерован. экз. . . . . 25.—  
Монография. Текст Б. Арватова  
и К. Эйнштейна (в печати) . . . . .

БОРИС ГРИГОРЬЕВ

Boui-Boui. Текст С. К. Маков-  
ского и М. Осоргина. 300 ну-  
мерован. экземпл. . . . . 25.—

ЕВГ. ЗАМЯТИН

О том, как исцелен был инок  
Еразм. Рисунки Б. М. Кустодиева . . . . . 3.—

КОЛЬРИДЖ

Кристабель. Пер. Георгия Иванова.  
Рисунки Д. И. Митрохина . . . . . 3.—

Б. АРОНСОН

Марк Шагал. Монография . . . . . 2.50  
Современная Еврейская Графика  
(в печати) 450 нумерован. экз. . . . .

Г р а ф и к а М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Текст С. К. Маковского и Ф. Ф. Нот-  
гафта. 450 нумерован. экз. (в пе-  
чати) . . . . .

Цены указаны в зол. марках.